

Санкт-Петербургский государственный университет

Институт философии

**ТОПОСЫ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ:  
ФЕНОМЕН РУИН  
(НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДА)**

Направление подготовки: 51.04.01 «Культурология»

Профиль: «Архетипы русской культуры: традиции и современность»

Выпускная квалификационная работа

соискателя на степень магистра

**Резвухиной Анны Ильиничны**

Научный руководитель:

д.филос.н., доц. **Артамошкина Л. Е.**

Санкт-Петербург

2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>ГЛАВА I. МЕСТО КАК МЕДИАТОР ПРОЦЕССОВ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ .....</b>	<b>12</b>
1.1 КОНЦЕПТ «МЕСТА ПАМЯТИ» В MEMORY STUDIES.....	12
1.2 КОНЦЕПЦИЯ «КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА» .....	21
1.3 ТОПОС ЛАНДШАФТА.....	30
<b>ГЛАВА II. НЕПРЕРЫВНОСТЬ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ: ТОПОС РУИН .....</b>	<b>40</b>
2.1 РУИНЫ КАК ОСОБЫЙ ТИП КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА.....	40
2.1 ПОТЕНЦИАЛ РУИН В ПРОЦЕССАХ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ .....	49
<b>ГЛАВА III. РУИНЫ КЁНИГСБЕРГА КАК МЕДИАТОР КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ В КАЛИНИНГРАДЕ .....</b>	<b>65</b>
3.1 ТОПОС РУИН: ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРОШЛОГО .....	65
3.2 МНОГОВАРИАНТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ТОПОСА РУИН .....	75
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>90</b>
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....</b>	<b>94</b>

## ВВЕДЕНИЕ

*Актуальность* исследования обусловлена современной ситуацией кризиса исторического сознания, бросающей вызов гуманитарным наукам и с необходимостью требующей своего решения. Выпускная квалификационная работа «Топосы культурной памяти: феномен руин (на примере Калининграда)» выполнена в рамках современных исследований культурной памяти, которые являются активно развивающейся в последние десятилетия междисциплинарной областью исследований, интерес к которой лишь возрастает и охватывает широкие круги научного сообщества. Однако, несмотря на активное развитие исследований культурной памяти, сохраняется потребность в разработке теоретической базы, выработке и уточнении понятий, так как в пределах подхода отсутствует единство терминологии и методологии, помимо этого существуют понятийные пробелы и трудности переноса концепций из англо- и немецкоязычных сред в российское поле науки. Данная работа предпринимает попытку прояснить понятийную базу, касающуюся темы материально-пространственных носителей культурной памяти (например, относительно понятийно перегруженного и дискуссионного концепта «места» в Memory studies).

Культурологическая актуальность работы заключается в том, что посредством исследования выделяется, описывается и анализируется отдельный тип культурного ландшафта – руины, исследуется их роль как медиатора в процессах культурной памяти; руины проблематизируются именно в рамках культурологии, а не эстетики или сферы работы с культурным наследием. Такой ход предполагает создание основы для изучения всего спектра проблем и вопросов, связанного с функционированием руин в современном городском пространстве, что на данный момент является востребованным у общественности, если учитывать российские локальные дискуссии по поводу необходимости сноса, тотальной реставрации, консервации или восстановления тех или иных исторических

построек как в крупных, так и в малых городах, а также общемировую полемику относительно руин-последствий военных и природных катастроф и терроризма с одной стороны и активную деятельность ЮНЕСКО и других организаций по сохранению мирового культурного наследия – с другой. Чтобы грамотно работать с подобными ситуациями и процессами не только на уровне общественных практик, но и на уровне теоретических исследований – таких как междисциплинарные городские и региональные исследования – необходимо исходить из понимания роли руин в культуре и культурной памяти. Данное исследование также сосредоточено на теме руин как фактора личностной и поколенческой идентификации и условия диалога поколений, что представляет интерес не только с позиции трансгенерационного аспекта в русле теоретических исследований культуры памяти, но и с позиции выработки принципов и стратегий работы с руинами как с «точкой сборки» памяти поколения и места инициации диалога разных поколений с целью преодоления кризиса идентичности современного человека. В работе совершается сближение исследовательских полей городских исследований и исследований памяти.

### ***Историография***

Традиция исследования категории пространства в его соотношении с культурой берёт своё начало в философии культуры; предметом повышенного научного интереса культурное пространство становится к концу XIX века. Именно тогда была широко распространена теория географического детерминизма, постулирующая определяющее влияние территории, «вмещающего ландшафта», и его географических особенностей, на особенности развития культуры (В.П. Семенов-Тянь-Шанский, К. Риттер, Ф. Ратцель). В философии в этот период развивается феноменологическое направление, в котором особое место отводится осмыслению пространства. Пространственные категории и методология их исследования разрабатывались Ф. Броделем, П. Бурдьё, М. Фуко, изучение проблематики

бытия и времени в трудах М. Хайдеггера связано с осмыслением пространственных образов. В середине XX века в ряде культур-философских исследований пространство выступает как категория структурирования мысли, Ж. Делез и Ф. Гваттари выдвинули понятие геофилософии, впоследствии В. А. Подорога сформулировал понятие ландшафтных миров философии.

Взаимодействие культуры и пространства было положено в основу концепции культурного ландшафта, предложенной русским географом Л.С. Бергом (1915), а затем – американцем К. Зауэром (1927). На протяжении нескольких десятков лет эта концепция развивалась в рамках естественнонаучной парадигмы, где культура в пространстве рассматривалась как определенный тип землепользования, градостроения и т.п. На рубеже XX-XXI веков, благодаря процессу гуманитаризации отечественной географии, тема культурного ландшафта стала сердцевиной исследований в области культурной и гуманитарной географии. Здесь можно выделить информационно-аксиологический подход Ю.А. Веденина и О.А. Лавреновой, этнокультурный В.Н. Калуцкова, феноменологический В.Л. Каганского, системный М.В. Рагулиной, имагинарный – Д.Н. Замятина.

После «пространственного поворота» в исторической науке в середине XX века историк П. Нора в книге «Места памяти» в развитие идей М. де Серто пишет о пространственной организации исторического опыта; затрагивают проблематику пространственных и материальных носителей культурной памяти также представители социального направления исследований культурной памяти и продолжатели традиции М. Хальбвакса – Я. и А. Ассман, из отечественных исследователей – Б.И. Колоницкий и Ю. А. Сафронова.

Традиция исследований руин наиболее последовательно представлена направлением в эстетической мысли и берет своё начало от работ Г. Зиммеля. Особенный интерес представляют собой труды, фокус которых лежит на проблематике руин в российском культурном пространстве: работы

А. Шёнле, А. С. Мухина, Г. И. Ревзина, И. Б. Томан, В. В. Федорова; как частное ответвление следует назвать предшествовавшие исследования руин именно в г. Калининград, проводимые русскими историками и краеведами И. О. Дементьевым, Ю. В. Костяшовым, А. Н. Попадиным, А. М. Сологубовым, а также немецкими историками М. Поделем, Б. Хоппе, П. Бродерсенном.

### ***Цель и задачи***

Целью исследования является характеристика и анализ особенностей руин как медиатора в процессах сохранения и передачи культурной памяти. Этому соподчинены задачи исследования:

- произвести аналитику терминологического аппарата исследования;
- проанализировать такие понятия как «место» и «культурный ландшафт»;
- проанализировать особенности руин как типа культурного ландшафта;
- рассмотреть и определить потенциал руин как медиатора культурной памяти;
- осуществить проверку методологии исследования личностной и поколенческой самоидентификации в прикладных исследованиях (на примере г. Калининграда).

### ***Библиография***

В работе задействованы источники, посвященные:

- теоретическим и практическим исследованиям культурного ландшафта – семиотическая теория культурного ландшафта О. А. Лавреновой, рассмотрение культурного ландшафта как объекта культурного наследия у М. Е. Кулешовой и Ю. А. Веденина, методология гуманитарной географии и концепция брендинга территории Д. Н. Замятина, обзор культурных ландшафтов советского времени В. Л. Каганского, определение «ландшафта» в гуманитарном и естественнонаучном поле в работах В. Н. Калущкова;

- феномену руин – эстетические концепции В. Беньямина и Г. Зиммеля, аналитика «разрушения» в культуре В. Г. М. Зебальда, К. Р. Кобрин и С. Н. Зенкина, концепция принципиальной фрагментарности руин и активного участия памяти и воображения при работе с ними С. А. Лишаева и А. С. Мухина, актуализация дискуссии на тему современных руин – возникших из-за войн и террористических актов – в работах Г. И. Ревзина, феномен современного бума интереса к руинам у Т. Эдерсона, А. Хёйссена, Л. Сиобхана, Т. Стрэнджлемана, акцент на специфике восприятия и работы с руинами в России – труды И. Б. Томан, В. В. Федорова и А. Шёнле;
- взаимообусловленности ландшафта и культурной памяти – теория топосов культуры Л. Е. Артамошкиной, понятие хронотопа М. М. Бахтина, концепция «возможного прошлого» в пространстве города И. В. Пахоловой, проблема сохранения культурного наследия как сохранения культурной памяти в работах О. В. Реш, Е. Л. Антоновой, В. Г. Туркиной;
- собственно теории культурной памяти – труды А. Ассман о мемориальной культуре современности, ретроспективный анализ культурной памяти в древних культурах Я. Ассмана, «топологичность» культурной памяти Т. Брейера, сборник современных подходов к коллективной памяти и мемориальной культуре А. Эрлл;
- специфике и «проблемности» калининградской региональной идентичности – социологические исследования среди населения М. В. Берендеева и В. В. Кривошеева, архивные материалы и свидетельства об освоении области первыми переселенцами, аналитика их перцепции исходного «чужого» пространства, осуществленная коллективом М. А. Клемешевой, Ю. В. Костяшова и А. Н. Попадина, а также фигурирующая в отдельных исследованиях А. М. Сологубова, аналитика соединения и противостояния «немецкого» и «русского» культурных полей в г. Калининграде в сознании жителей в исследованиях Н. Г. Бабенко и В. И. Гальцова, аналитика калининградской топонимики Л. В. Рубцовой;

- осмыслению архитектурно неоднородного пространства г. Калининграда – концепция «палимпсеста» в городе А. Н. Попадина и О. И. Васютина, фиксирующий освоение руин Кёнигсберга в г. Калининград фотоальбом Д. Вышемирского, обзор советской периодики с целью выявления образа Калининградской области В. Н. Маслова, аналитика локального текста города Л. М. Гаврилиной, историографический обзор исследований по культурной политике относительно довоенного культурного наследия в городе И. О. Дементьева, совместные немецко-русские исследования по заселению Калининградской области и так называемой «советизации» пространства после Второй мировой войны в работах отечественного историка Ю. В. Костяшова и немецких историков Э. Маттеса, М. Вайхброта, М. Поделя, Б. Янига, Б. Хоппе, П. Бродерсена.

### *Методология*

Теоретическая часть исследования сочетает и согласует в себе методологию феноменологии ландшафта (Ф. Степун, В. Подорога, Г. Зиммель) и социологии культурной памяти (А. Ассман, М. Хальбвакс),

Основополагающим методом для данного исследования в рамках работы с таким культурным феноменом как руины выступает культурологический анализ. В отношении разных типов материально-пространственных носителей применяется сравнительно-сопоставительный метод. Практическая часть исследования во многом базируется на методах гуманитарной географии, сбор и первичная обработка материалов посредством архивных исследований, методом включенного наблюдения, интервьюирования, анкетирования, создания ментальных карт городского пространства.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографии.

### ***Результаты***

В качестве полученных итогов по завершению исследования следует перечислить:

- проведен критический историографический и содержательный обзор ключевых понятийных единиц исследования – «место» и «культурный ландшафт»;
- выявлена и сформулирована специфика руин как типа культурного ландшафта;
- исследованы и определены характеристики и возможности руин в качестве медиатора в процессах культурной памяти;
- испытана выработанная в исследовании методология изучения личностного и поколенческого аспекта самоидентификации в прикладных исследованиях;
- установлена корреляция между кризисной ситуацией исторического сознания в текущее время и возрастающей динамикой обращения и взаимодействия с феноменом руин.

Исходя из вышеуказанного, можно утвердить соответствие полученных результатов исходно поставленным задачам, в том числе и достижение основной цели исследования по установлению специфика руин как медиатора в процессах культурной памяти и указания дальнейших возможных линий теоретического изучения и практического применения выявленных положений.

### ***Научная новизна***

Принципиальная научная новизна работы заключается в оригинальной постановке вопроса о сущности феномена руин и его роли в культуре на стыке областей и методологий исследований памяти и гуманитарной географии - ранее данное явление рассматривалось преимущественно в рамках дисциплины эстетики или сферы охраны культурного наследия. Развитие получают устоявшиеся концепции культурного ландшафта посредством выдвижения и обоснования положения о руинах как типе

культурного ландшафта, обладающего своей спецификой, и через постановку проблемы о возможности рассмотрения процесса разрушения как основы возникновения культурного ландшафта в целом. Область исследований памяти обогащается за счет проведенной аналитики относительно руин как медиатора в формировании культурной памяти, в том числе с точки зрения влияния на формирование индивидуальной и поколенческой идентичности. Впервые руины представлены как фактор, способствующий формированию преемственности между поколениями. Критерию научной новизны соответствует также осуществленная в работе попытка выработать определенную методику, нацеленную на преодоление кризиса исторического сознания.

#### ***Положения, выносимые на защиту***

- руины соотносятся с типами культурного ландшафта и в данном качестве выполняют роль медиатора культурной памяти;
- руины способствуют процессам личностной и поколенческой идентификации и диалогу поколений;
- устанавливается корреляция между кризисной ситуацией исторического сознания и возрастающей динамикой взаимодействия с феноменом руин;
- прикладные исследования феномена руин в городском пространстве (г. Калининград) верифицируют возможность соотношения понятий места и культурного ландшафта.

#### ***Теоретическая и практическая значимость***

Результаты, полученные в рамках проводимого исследования в его теоретических и практических аспектах, а также сформулированные в заключение работы положения могут послужить отправной точкой дальнейших исследований по магистральной теме работы о феномене руин и разрушения в культуре, а также исследований в области культурной памяти, в частности по таким направлениям, как: особенности носителей и

механизмов сохранения и передачи культурной памяти в России, специфика функционирования материальных (сужая проблематику – материально-пространственных) носителей культурной памяти, соотношение культурных ландшафтов и культурной памяти. Разработанные концепты могут быть развиты далее в рамках междисциплинарных урбанистических исследований. Итоги выпускной квалификационной работы применимы на практике в поле городской архитектуры и градостроения, деятельности по охране памятников культуры, брендинга определенной территории. Результаты могут быть использованы, например, для выработки стратегических решений по присвоению статуса и сохранению объектов культурного наследия на локальном и мировом уровне или для разработки устойчивого имиджа конкретного населённого пункта.

# ГЛАВА I. МЕСТО КАК МЕДИАТОР ПРОЦЕССОВ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ

## 1.1 Концепт «места памяти» в *Memory studies*

При исследовании процессов сохранения и передачи культурной памяти ключевыми вопросами становятся содержание и форма культурной памяти, то есть *что* и *как* / *каким способом* отбирается, закрепляется и транслируется в качестве фундаментальных для общности моментов прошлого, выступающих в качестве основы для групповой идентичности. Содержание и форма культурной памяти взаимообусловлены и неразрывно связаны друг с другом. Однако, в текущей ситуации кризиса исторического сознания, размытия культурных идентичностей и углубляющегося разрыва современности с традицией ввиду глобализации и сопутствующих ей вызовов по выработке новых стратегий самоидентификации человека в динамично меняющемся мире, на передний план выходит активное обсуждение именно содержания культурной памяти: что следует помнить, а что подлежит забвению. Но для укрепления и сохранения преемственности культурной традиции не менее важным фактором является вопрос о носителях культурной памяти. Пренебрежение темой формы как второстепенной, вспомогательной по отношению к содержанию вредоносно для культурной памяти как цельного процесса. Так, «тотальная архивация» или, наоборот, бездумное разрушение культурного наследия, а также локальные «войны памяти» при установке мемориальных досок, памятников с их последующим исключением из среды обусловлены не только неверно проработанным содержанием, но и ошибочным способом его закрепления. Носители культурной памяти обеспечивают собой сохранность и передачу выбранного содержания, и, в случае если каналы передачи отрефлексированы поверхностно или ошибочно и впоследствии функционируют неправильно, происходит сбой, который может привести к неэффективности механизмов культурной памяти, её внутренней

конфликтности и противоречивости, в конечном итоге – к нежизнеспособности и отторжению со стороны членов культурной общности. Поэтому вопрос «как помнить?» – вопрос о носителях культурной памяти – занимает важную позицию в проблематике исследований памяти.

Сеть каналов и возможных путей сохранения и передачи культурной памяти весьма обширна. Они охватывают как сферу коммуникативных практик и информационного поля, так и область материальных объектов, предметно-вещный мир. Множество и разнообразие способов фиксации и последующей трансляции смыслов в рамках культурной памяти затрудняет их чёткую дифференциацию и классификацию, и, в свою очередь, их регулирование как разных, но равноправных элементов единого повествовательного полотна. В качестве носителей культурной памяти можно указать классические и народные произведения искусства, официально принятое на государственном уровне изложение отечественной и мировой истории в учебных материалах для образовательных учреждений, коммеморативные практики в формате торжеств, юбилеев, праздников или выпуска памятной продукции (монеты, книжные издания) и установки мемориальных знаков (памятников, именных табличек), устную традицию межпоколенческого диалога, (авто)биографическое письмо, памятные топонимы, имена и даты. Этот список неполон и не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим, но вполне наглядно обрисовывает многообразие способов, которыми расчерчивается сетка культурной памяти для того или иного сообщества. Задействованы разные модусы и возможности посредничества между отдельным человеком и культурной памятью через принадлежность к которой тот выстраивает свою идентичность, разделяя общие ценности, идеалы, традиции и представления о прошлом.

Праздники, государственные символы, словари, имена, даты, памятники, мемориалы, кладбища, песни, рассказы, картины, музеи, учебники и другие носители культурной памяти были объединены концептом «места памяти» (фр. *lieu de mémoire*), разработанным

французским историком Пьером Нора в начале 80-х гг. XX века. Как «место памяти» может быть обозначено, в согласии с этой концепцией, «любое значимое явление, вещественное или нематериальное по своей природе, которое по мановению человеческой воли или под воздействием времени приобрело статус символа в мемориальном наследии того или иного сообщества»<sup>1</sup>. Концепт «места памяти» примирял между собой и ставил в один ряд носителей, решительно отличающихся по характеру и возможностям сохранения и передачи культурных смыслов, например, преимущественно коммуникативные (устные истории или традиционно принятую словесную форму поздравлений к памятной дате) и материально-пространственные (знаковые места и памятники архитектуры). Во многом благодаря предоставляемой в рамках концепта «мест памяти» возможности избежать лишнего дробления и спецификации различных носителей культурной памяти и сохранить наглядность их сквозного функционального единства, подход П. Нора прочно устоялся в отечественной и зарубежной теории Memory studies. Предоставляемый в рамках данного концепта инструментарий позволял плодотворно разрабатывать тему носителей памяти вне зависимости от их природы, конкретно-вещной или абстрактной. Любой способ фиксации значимых смыслов для укрепления культурной памяти и последующей трансляции для фундирования идентичности сообщества, таким образом, соотносился с категорией «места памяти».

Если обратиться к исходной формулировке П. Нора, то французский исследователь под концептом «мест памяти» понимал именно способы выработки, кристаллизации и запечатления содержания культурной памяти, необходимость в которых возникает тогда, когда уходит «горячая» память, «размещавшаяся» в личных воспоминаниях очевидцев и современников какого-либо исторического события. Она поддерживалась и конституировалась в повествование преимущественно в коммуникативных практиках внутри причастного к событию поколения и в межпоколенческом

---

<sup>1</sup> *Джадт Т.* «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? С.54.

диалоге с потомками. «Холодная» память мест, по сути, запечатлевала и сохраняла «останки» или «реликты» прошлого, выступая «крайней формой, в которой существует коммеморативное сознание в истории, игнорирующей его, но нуждающейся в нём»<sup>1</sup>. «Места памяти» – это материальные и нематериальные места, в которых в качестве символов и знаков закрепляется утрачиваемое прошлое, которое более не подлежит сохранению в памяти членов общности как переживших непосредственно то или иное событие (в связи с естественно наступающим постепенным уходом из жизни очевидцев и сменой поколений) и потому находится под угрозой забвения. В понимании концепции П. Нора важно учитывать акцент, сделанный на угасании традиций в современном обществе, на роли «архивной формы» культурной памяти, отведенной «местам памяти», в которых, словно в янтаре, застывает прежде живая традиция. Его теория возникла в ответ на конкретную проблему очевидного изменения содержания и формы национальной памяти во Франции и в целом в Европе и мире, переживших травмы мировых войн и крах социальных утопий. В связи с этим остро необходимым казалось составление своеобразной описи воплощений культурной памяти и её основных символов с целью предупреждения их вытеснения и сохранения статуса. Необходимость максимально широкого охвата способов конституирования коллективной идентичности диктовала упаковку «мест памяти» в «архив» культурной памяти с возможной последующей реорганизацией и реактуализацией. Колоссальный труд в этой области был осуществлен самим П. Нора, вместе с другими учёными в нескольких томах задокументировавшими уходящие «места памяти» родной Франции.

Впрочем, угроза растворения локальных идентичностей и традиций перед лицом стремительного развития глобализационных процессов в мире оказалась если не преувеличенной, то, в любом случае, не учитывала укрепление и всё возрастающую со временем динамику противоположной

---

<sup>1</sup> Нора П. Проблематика мест памяти. С.26.

тенденции – локализации, сохраняющей и культивирующей особенности и уникальное наследие разных культур мира. В более поздней статье «Торжество памяти», написанной уже после вступления человечества в новое тысячелетие, П. Нора, в свою очередь, корректирует свои прежние пессимистичные предположения относительно неизбежного отмирания прежней культурной традиции. Более того, исследователь констатирует настоящий мемориальный бум, который переживает Европа, и установившийся в итоге «культ наследия»<sup>1</sup>, естественная связь с которым разорвана, но который, тем не менее, находящее в нём ценность сообщество стремится любыми средствами сохранить для будущего. П. Нора не отказывается от идеи о категорическом разрыве настоящего с прошлым, обретение которого возможно «лишь через реконструкцию – с помощью документов, архивов, памятников»<sup>2</sup>, но тема получает новый вектор развития. Актуализируются определенные вопросы: что именно из многообразных явлений культурной традиции необходимо сохранять и консервировать в качестве основополагающих точек сохранения коллективных представлений о прошлом культуры и её сути, какими критериями руководствоваться при отборе, какие средства выбирать для закрепления и трансляции памяти общности?

С исчезновением представления о единой цепи времени, история стала множественной и инвариантной, а объявленный философией постмодерна кризис метанарратива позволил обрести голос ранее угнетаемым и замалчиваемым господствующим дискурсом группам и их альтернативным нарративам. Были раскрыты и проанализированы механизмы и возможности изобретения таких конструкторов, как «нация», «история», «идентичность». Принципиальной множественности культур и многоголосию истории стала соответствовать аналогичная множественность критериев отбора и утверждения «мест памяти».

---

<sup>1</sup> Нора П. Всемирное торжество памяти. С. 205.

<sup>2</sup> Там же. С. 205-206.

Высвобождение альтернативных повествований и обретение ими возможности самостоятельного высказывания, однако, парадоксально привело не к демократизации представлений об общем прошлом, когда в него, наконец, были включены голоса всех участников, а к их радикализации, эскалации конфликта между различными сообществами внутри одной культуры и между различными. Представление и повествование о прошлом, а вместе с ними символический пласт «мест памяти» и выстраивание культурной и коллективной идентичности стали полем конфликта («чью память сохранять?»), а не площадкой для встречи и возможности утвердить равенство и право на существование всех позиций и перспектив. Наоборот, отчасти культурная память стала оружием одних общностей против других.

В поле конфликта, как уже было указано, были вовлечены и «места памяти». Существенная доля исследований по проблематике культурной памяти является анализом (а иногда и критикой), конкретных способов и каналов сохранения и передачи основополагающих ориентиров и смыслов в рамках той или иной культуры (наглядным примером является дискуссия вокруг демонтажа памятников коммунистическим деятелям в бывших странах-участницах Варшавского договора или установки памятников и памятных знаков участникам Белого движения в России). Критика, конечно, затрагивает воплощение «мест памяти» в неразрывной спайке с их содержанием, то есть рассмотрению подлежит форма и содержание культурной памяти как единое целое.

Помимо разнонаправленных практических исследований, теоретическое основание концепции П. Нора было развито, прежде всего, в русле исследований и теорий по культурной памяти немецких историков и культурологов Яна и Алейды Ассман, уже ставших признанными классиками Memory studies, как и сам Пьер Нора. Так, работы Я. Ассмана посвящены рассмотрению значения памяти о прошлом в обеспечении функционирования культуры, в том числе важности «мест памяти» для вмещения содержимого культурной памяти: «Любая сплывающаяся группа стремится создать и

обеспечить за собой места, которые являются для нее не только сценой совместной деятельности, но и символами ее идентичности, а также опорными пунктами воспоминания»<sup>1</sup>. Также Я. Ассман выводит принципиальное различие между «живой» коммуникативной (устная повседневная традиция, возникающая из пережитого опыта) и символической (формализованной и выраженной в носителях) культурной памяти. Алейда Ассман развивает эту теорию, делая акцент на перспективе межпоколенческого диалога и коммуникативной культурной памяти как залого поддержания и закрепления того или иного повествования о прошлом. Исследовательница рассматривает места и объекты коммеморации как точки-триггеры, спусковые крючки запуска не только я-центрических воспоминаний отдельного человека, но и коллективных – в воображении сообщества.<sup>2</sup> Запоминание и забвение осуществляется в объектах и артефактах, которые включаются в межпоколенческую коммуникацию в рамках культуры.

Концепция «мест памяти» в своём возникновении и развитии, таким образом, определяла качество этих мест как некий воображаемый материал, закрепляемый за реальными или абстрактными объектами, возникающий в процессе семиотизации – разметке знаками реального пространства, вмещающего культуру, или возведения в ранг символа элементов самой культуры.<sup>3</sup> Место в такой перспективе рассматривается исключительно в символическом, а вовсе не в пространственном или материальном аспекте. Овеществленная память молчит о памяти самой вещи, «места памяти» находятся скорее в символическом, нежели реальном пространстве, теряя собственную «уместность»; вещи и места отсылают к какому-то событию прошлого и манифестируют его, в то время как их собственное содержание и история отходит на второй план, затушевывается функцией носителя и

---

<sup>1</sup> Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. С. 40.

<sup>2</sup> Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. С. 130.

<sup>3</sup> Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. С. 63.

ретранслятора культурной памяти. Будучи включёнными в коммеморативные практики, вмещающая и поддерживающая память общности, «места памяти» как бы расколота надвое, одновременно представляя собой часть культуры и знак, отсылающий к этой культуре, указывающий на неё. При преобладании коммеморативной составляющей и регрессированию исключительно к ней «место памяти» постепенно становится всё более виртуальным и оторванным от действительности, исключённым из текущей динамики культуры, не насыщается новыми смыслами – то есть, действительно выступает в качестве «останков» культурной традиции, как изначально представлял их П. Нора в своей концепции. «Места памяти» превращаются в герметичную, изолированную и непроницаемую упаковку для акта воспоминания.

Но в культуре каждый элемент обусловлен и воплощает в себе, являет собой культуру, к которой принадлежит, которой порожден. В культуре нет ничего бессодержательного. Если под категорию «мест памяти» подпадают все проявления кристаллизовавшейся культурной традиции – тогда та или иная культура во всем многообразии своих элементов и есть самое масштабное «место памяти»? И попытки переписи каждого значимого элемента, конституирующего культурную идентичность через понимание прошлого культуры, в конечном итоге превращаются в составление бесконечного архива, который принципиально не может быть полностью завершён. Упрёк в неполноте был, в свою очередь, адресован и исполинскому, семитомному труду П. Нора по «местам памяти» Франции, в котором не нашлось места фигуре Наполеона Бонапарта, а ведь он является неотъемлемой частью французской культуры. Критика подобного подхода к культурной памяти была выражена и Полем Рикёром, согласно которому такое чрезмерное пристрастие к оставшимся следам прошлого и «одержимость архивами», «бумажной памятью» является уже скорее не стремлением и потребностью сохранения прежней традиции, а страхом

разрушения собранного архива и забвения.<sup>1</sup> Этот страх П. Рикёр находит безосновательным, так как забвение не обязательно означает полное уничтожение и стирание, оно может быть рассмотрено в том числе и как погружение определенных элементов в поле потенциального ресурса, который может быть вновь реактуализирован со временем.

Такой подход делает концепцию «мест памяти» более многомерной. Если оставить за объектом, представляющим собой «место памяти», не только закрепляемый за ним основной коммеморативный смысл, но и гроздь других коннотаций, которые входят в его целостность, не происходит столь резкого расщепления. Возможным станет совмещение и сосуществование разнонаправленных повествований, когда «одна и та же история принимает различные формы в зависимости от способа своего существования и обстоятельств высказывания»<sup>2</sup>. Посредством признания резервного, дополнительного символического капитала «мест памяти», составленного их собственным бытованием в культуре, усиливается сопротивляемость области культурной памяти к вмешательству: коррекции, переписыванию, переизобретению. Представление о конструируемости культурной памяти преувеличено и некорректно упрощает связь настоящего и прошлого. Использование «мест памяти» как искусственных производных конструкций со свободно заменяемым, стираемым, (пере)изобретаемым содержанием приводит к превращению поля культурной памяти в легко манипулируемую и управляемую область, подчиненную политическим актам; это недопустимое упрощение процессов сохранения и передачи культурной памяти. Исходя из вышесказанного, при рассмотрении сущности и действия носителей памяти их следует называть не «носителями», что подразумевает наполнение / запись на них произвольного содержимого, а проводниками или медиаторами, что подчеркивает их посредническую роль между общностью

---

<sup>1</sup> Рикёр П. Память, история, забвение. С. 402.

<sup>2</sup> Васильев А. Memory Studies: единство парадигмы – многообразие объектов [Электронный текст].

и образами, содержащимися в самом проводнике – актуализированными или находящимися в плоскости потенциального.

## **1.2 Концепция «культурного ландшафта»**

Странным образом, наименее удачно концепция «мест памяти» представляет непосредственно сами места. В первую очередь, размывается само понятие места, которое расширяется в значении до совершенно непространственных единиц или относящихся к пространству лишь опосредованно, как, например, топонимы – имена мест или локализованные в определенных местах (площадях, зданиях, городах) праздники с фиксированным маршрутом, прокладываемым через конкретное пространство. Место становится частью ряда «мест», отчуждаясь от собственного исходного понятия и от своей ключевой характеристики – пространственности. Формулировка концепции «мест памяти» стирает специфику пространственно-материальных проводников культурной памяти, игнорируя момент их размещенности, умещенности в конкретном пространстве. Подобный сдвиг в понимании места как медиатора процессов культурной памяти приводит к тому, что при выхолащивании его специфики на этапе выстраивания ряда возможных каналов передачи культурной памяти и встраивания места в этот ряд, при повторном обращении к этому виду проводников, переходя от общего – к частному, они уже рассматриваются как манипулируемые конструкции со свободным содержанием, то есть сквозь призму общих для всех носителей рамок и возможностей, а не исходя из особенностей медиатора. Конечно, такой подход имеет свои преимущества на этапе собирания возможных и разнообразных способов сохранения и передачи культурной памяти, так как позволяет объять и лаконично их представить в некоем единстве. Однако, этот момент вынужденного упрощения ради систематизации и составления типологии необходимо держать в уме как условный. В противном случае дальнейшее исследование медиаторов культурной памяти будет отталкиваться от

некорректного основания и, соответственно, будет неполным или даже ошибочным.

“Место” понимается в рамках концепции «мест памяти» исключительно как социальное пространство. Не отвергая важность социального – конструируемого и создаваемого – пространства для рассмотрения механизмов культурной памяти, необходимо подчеркнуть происходящее в таком случае разъединение взаимосвязи физического и социального пространства и, соответственно, отсечение целого сущностного пласта такого явления, как место. Опасность в том, что физическое пространство не просто выносится «за скобки», оно присваивается социальным пространством, которое подменяет его собой, одновременно включая физическое пространство в понятие «мест памяти», но при этом отказывая ему в физической, пространственно-материальной характеристике, оставляя от неё лишь наименование / указание. Физическое пространство как бы включено, указано, маркировано, но при этом – отсутствует. Происходит разрыв с вещественностью и пространственностью, замещение реальных мест конструкцией «места». Наглядную метафору для отмежевания реальных мест от процессов культурной памяти и их представленности только посредством маркеров, своеобразных указателей и вывесок привёл британский исследователь Тони Джадт: «Эти щиты поставлены, чтобы рассеять дорожную скуку, подсказать современному путешественнику, через какие места он, сам того не зная, проезжает. Ирония состоит в том, что узнать об этом вы сможете, лишь двигаясь по скоростной магистрали, надежно отгороженной от окружающего ландшафта»<sup>1</sup>. В месте как «месте памяти» превалирует его коммуникативная функция, оно выступает пространством для коммуникации, вмещения речи. На передний план выдвигается способность места транслировать приписываемые и проговариваемые значения и нивелируется его возможность непосредственного воздействия и регулирования более обширного объема

---

<sup>1</sup> Джадт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? С. 45-46.

культурных смыслов. Потенциал места приостанавливается, не реализуется полностью – оно выступает как носитель, но не как медиатор, посредник.

Разметка реального физического пространства для определения границ «мест памяти» происходит посредством вычленения из него символов, которые уже образуют самостоятельный символический слой, в котором пространство по-своему репрезентируется, структурируется, приобретает определенный порядок. Зазор между символом-указателем и местом, на которое он указывает, к которому отсылает, искажает чистоту передачи исходного представления; разрывается эмоциональная, телесная, “моторная” связь с местом, которая возникает у субъекта. Оознаваемость места же достигается не за счёт панорамного включения цельного образа места, а за счёт утрирования одних характерных деталей и умолчания других, нарушается соотнесенность и соположенность с другими местами. Такая «стерильная» концепция места, в конечном итоге, оперирует безопасными, исходно бессодержательными конструкциями, что приводит к запуску процессов музеефикации культурной памяти (её застыванию в одной утвержденной форме с последующим угасанием динамики и регрессированию к бесконечному повторению), манипуляции ею и даже возможной фальсификации (повышенная возможность подмены смыслов ввиду изначального положения полной изобретаемости, наполняемости любым идейным содержанием). Вторит этим процессам установление памятников-указателей, производных не от сущности конкретного места, а от его выведенной смысловой конструкции. Культурная память замещается предписанием того, что должно считаться культурной памятью. Выбор нарративных установок конечно влияет на то, что в данный промежуток времени помнится / забывается, но это не означает, что лишь этими рамками культурная память и ограничивается. «Воздвигая памятники или создавая копии предметов старины, мы рискуем ещё больше забыть о прошлом: созданный нами символ или законсервированные руины подменяют собой прошлое. Мы тешим себя иллюзией, что сохраняем прошлое, в то время как

его подлинный смысл ускользает от нас, оставляя нам лишь сувенир на память»<sup>1</sup>.

Усечение сущности места посредством пренебрежения его пространственно-материальной составляющей приводит к расщеплению его смыслового ядра и, в свою очередь, к нарушениям и сбоям в процессах сохранения и передачи культурной памяти. Произвольная и внеконтекстная выборка части произвольных значений вместо удержания во внимании цельного образа места в множественности соподчиненных ему смыслов, которые подкрепляются в том числе и посредством вещно-пространственного аспекта, имеет последствием нецелый, ущербный, неполный образ, культивируемый впоследствии как «воспоминание» культуры, которое уже не обладает динамикой, жизнестойкостью и многогранностью исходного образа-ядра. Культурные смыслы в неполном виде закрепляются в памяти общности и ретранслируются следующим поколениям. А так как они не подкреплены цельным образом, из которого изъяты, то падает их сопротивляемость к смещению акцентов, переписыванию смыслов, переизобретению почти с чистого листа. Но место – вовсе не *tabula rasa*. Оно не пусто, причём ни содержательно, ни материально. Место обладает пространственной размещенностью, именем, историей. Место как пространство, «освоенное» культурой, никак не может быть представлено как лишённое каких-либо характеристик, смыслов, образов; нельзя утверждать, что, будучи культурным образованием, места могут быть в любое время «переписаны». Безусловно, место порождено культурой как окультуренное пространство, и в ходе этого процесса ему были присвоены также определенные значения, то есть можно говорить об изначальной изобретённости, сконструированности места человеческой мыслью. Однако же обратный процесс – изъятие значений и откат места как объекта до исходного «чистого состояния» для приписывания нового коренного образа – невозможен. Место всегда содержит в себе исходный

---

<sup>1</sup> Джэдт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? С. 47.

образ, к которому можно лишь присоединить и прирастить новые значения, но не вытеснить коренное.

Структура образа места такова: внутри места заключён исходный образ – по аналогии с ядром или основным корнем – вокруг которого выстроены и к которому приращены другие, но непременно связанные с основным, соподчинённые образы. Образ расширяется и обогащается за счёт считывания уже существующих и привнесения новых значений отдельными людьми-субъектами культуры – через присоединение новых ассоциаций, воспоминаний, коннотаций, иных способов расширения поля смыслов. Каким бы простым, сжатым и поддающимся внешнему существенному влиянию ни был образ места изначально, впоследствии он обрастает витиеватой структурой и уже не подлежит кардинальным изменениям извне. Место вырабатывает смысловой стержень, имманентный образ. Справедливо также отметить, что этот образ и включённые в него смыслы удерживаются самим местом в той же степени, что и позволяют распознавать место как средоточие, воплощение этого образа, выстраивают место вокруг себя. Из-за своей сложности, многоплановости и комплексности этот цельный образ не поддаётся полному «счищению», деконструкции до основания всех присоединённых значений и сосуществующих альтернативных образов. Механическое присоединение и отсоединение смыслов как неких внешних составных частей неосуществимо. Более того, новые приписываемые значения могут вступить в конфликт с образом-ядром и быть отторгнуты, не прижиться как чужеродные.

Учитывая сопротивляемость образа места к резким или излишне вольным изменениям, для введения в поле манипуляции необходимо было его расщепление и ослабление, которое бы позволило более свободное назначения смыслов. Но и в этом случае не стоит переоценивать возможности таких корректировок, инициированных потребностями и желаниями общности или подчиняющихся интересам власти – они не приводят к радикальной трансформации образа. Становится возможной лишь

новая расстановка акцентов, придание новых штрихов, иная трактовка, которая закрепляется под видом нового образа и заслоняет, выводит из поля зрения другие грани исходного многообразия. Сохраняется созависимость выстраивания рассказа о прошлом и корневища образов места, к которому делается привязка, за тем исключением, что происходит отбор целесообразных и актуальных образов и отсечение всех остальных, потенциально возможных, в то время как цельный, нерасщепленный образ является вместилищем для всех альтернатив, обуславливая их сосуществование, хранилищем как того, что помнится, так и в равной степени того, что забыто (отсутствие маркируется недостающим звеном в плотной ассоциативной сети образа, ощущается как провал, неполнота, нехватка).

Если включить в концепцию «мест памяти» образ места в его полноте, а не усеченности, то место, способное сохранять и передавать, усиливать / отвергать новые значения, не отменяя при этом предшествующие, действительно будет выступать в качестве полноценного посредника, медиатора культурной памяти. «Места памяти» обретут движение, изменчивость и динамику, не будут являться исключительно «застывшими обломками», постепенно истощающими свой творческий ресурс.

Очевидной становится необходимость развития исходного концепта «места памяти», поиска альтернативных решений, других теоретических наработок, которые способствовали бы выработке нового подхода. Так, момент амбивалентности мест как одновременно свидетелей прошлого и свидетелей его же утраты отразил в своих работах французский социолог Марк Оже. Исследователь подразделил места, производимые культурным процессом, на две категории: места (*lieux*) и не-места (*non-lieux*).<sup>1</sup> По сути, принцип деления – (бес)содержательность того или иного места, наличие / отсутствие имманентного образа. Места, или же «антропологические места», в концепции М. Оже обладают внутренними связями и историей, связаны с

---

<sup>1</sup> Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. С. 102.

человеком, помогают в построении его идентичности, соотнесенности с общностью. Это материализованное осмысленное отношение людей к конкретному пространству, воплощенная идея, фиксирующая человеческую мысль в материальном измерении. Противоположностью им выступают чисто функциональные, пустые, не несущие в себе содержания не-места. Они порождены необходимостью современности и свидетельствуют о нарушении или даже разрушении культурных связей; не-места являются как бы «белыми пятнами» или дырами в плотной культурной ткани сопостранственных мест, в них не находят воплощения исторические и культурные связи. В ряду таких не-мест могут быть названы супермаркеты, аэропорты, автострады, гостиницы и другие места большого скопления людей. Они обезличивают людей, входящих в их пространство, не способствуют субъективному переживанию места. Вместо чувства сопричастности к прошлому не-места производят “цитаты” прошлого, например сувениры / открытки с архитектурными доминантами того или иного места (Эйфелева башня, Собор Василия Блаженного, Статуя Свободы).

Подход М. Оже наглядно очерчивает опасность деградации «мест памяти» исключительно к функции «припоминания» в разрыве с живым и развивающимся образом места, становления «места памяти» лишь очередным функциональным не-местом, деградировавшим к “цитатности” и “сувенирности” и более не являющимся проводником культурной памяти.

Момент сохранения содержания культурной памяти и поддержания сохранности материальных форм её носителей отражён в исследованиях, занимающихся проблематикой культурного наследия. На пересечении с интересами исследований культурной памяти находятся такие вопросы, как критерии определения объектов культурного наследия (что можно определить как наследие и какие меры должны быть предприняты для его защиты и дальнейшего культивирования), а также проблема «музеефикации» наследия, которое при консервации и возведении в ранг охраняемого объекта культуры зачастую исключается из контекста актуальных процессов

культурной памяти, замыкается на себе и испытывает затруднения с включением в повседневные коммуникативные практики членов общности. Отбор объектов культурного наследия определяет и оформляет рамки содержания культурной памяти, отвечает на необходимость «сжать» и «упаковать» прошлое как ценность общества настоящего, продлить его «срок годности» посредством обеспечения видимости и ощущаемости наследия здесь-и-сейчас. Не менее любопытна характеристика «безопасного расстояния» в культурном наследии, которая подчеркивает и акцентирует мнимую отдалённость, оторванность объектов наследия от настоящего (хотя запрос на него формируется сугубо из момента настоящего времени и касается объектов, располагающихся в плоскости настоящего, несмотря на более отдаленное по времени время создания / возникновения). Это безопасное расстояние, в конечном итоге, стимулирует небезопасную тенденцию к противопоставлению культурного наследия и актуальной культуры.

Взаимосвязь места, пространства, территории и образов, структур человеческой мысли нашли преломление в таких концепциях, как геофилософия Жюль Делёза и Феликса Гваттари, а также гетеротопия Мишеля Фуко. Если геофилософия сосредоточена на философии пространства и вопросах пространственной организации ментальной деятельности как реализации отношения мысли к территории, то концепция М. Фуко, также имеющая дело с систематизацией пространственных представлений как способов «территориализации мысли», больше раскрывает именно сущность места, оборачивающегося гетеротопией. Гетеротопия в некоторых моментах перекликается с концепцией социальных времён-пространств<sup>1</sup> (англ. TimeSpace) И. Валлерстайна, описывающих собирание в едином времени разных пространств, а в одном пространстве - разных времён; «времяпространства» являются вместе с тем

---

<sup>1</sup> Валлерстайн И. Изобретение реальностей времени-пространства: К пониманию наших исторических систем. С. 102.

бифуркационными точками, в которых заложены потенциальные множественные возможности и альтернативы. Гетеротопия М. Фуко – это пространство, репрезентируемое различными образами, которые могут быть слабо или даже вовсе несовместимы друг с другом, но при этом собраны воедино конкретным местом, допускающим их единовременное сосуществование. В срезе получается напластование образов и смыслов, поток второстепенных образов, расщепляющих собой образ первоначальный. Они налагаются друг на друга и взаимно трансформируют, умножают друг друга, при этом размещаясь в одном абсолютном пространстве. Концепция гетеротопии крайне продуктивна для рассмотрения сложной структуры места как медиатора культурной памяти.

Однако ключевым моментом определения альтернативы видится возврат к самим местам. Обратное включение в понятие места как посредника культурной памяти реального местоположения в пространстве, соединение символического и социального пласта пространства с географическим. Подобный целостный и комплексный подход реализуется, с одной стороны, в направлениях гуманитарной географии, разрабатывающей понятие культурного ландшафта, а с другой – в русле феноменологии ландшафта, рассматривающей взаимообусловленность человеческой мысли и места, в котором она разворачивается. Именно понятие (культурного) ландшафта в противовес «местам памяти» наиболее полно раскрывает явление места в его разнородности и многогранности. Ландшафт представляет собой единство географического и символического, природного и культурного, реального и абстрактного элементов места, обозначает собой пространство освоенное и обозначенное, пережитое человеком и отразившее и отразившееся на человеческой мысли. Тем более, что понятие ландшафта является сквозным и общим как для гуманитарной географии, так и для феноменологии ландшафта, что позволяет соединить наработки и теории этих подходов там, где пересекаются их исследовательские поля. Принципиальной является необходимость изучения места с точки зрения

топологической проблематики культурных процессов, исследуемой в феноменологии, которая рассматривает культуру как непрерывный процесс передачи образцов, наиболее удачного и устойчивого воплощения заложенного образа в конкретной форме. Посредством понятия ландшафта будет достигнуто более полное раскрытие места и его особенностей как медиатора культурной памяти, не только сохраняющего альтернативные варианты привносимых культурой смыслов в своем корневом образе, но воздействующего на уровне мысли и тела на отдельного человека как посредник культурной памяти и выступающего одновременно с тем условием и площадкой межпоколенческого диалога.

### **1.3 Топос ландшафта**

Очистить / счистить до основания сложную и многоуровневую структуру образа, выступающего фундаментом для места, не представляется возможным. Свободная и абсолютно произвольная конструируемость пространства условна. При работе с местом как медиатором процессов культурной памяти следует ориентироваться не на построение нового замещающего контр-образа, который бы отвечал запросам общности по отношению к своему общему прошлому и его репрезентации, а на актуализации и дополнении уже включённых в образ места граней, формировании повествования посредством развития и подкрепления определённых смыслов при сохранении других соподчинённых образу как потенциально возможных и неразрывно связанных между собой. Актуализация определяется коллективными социальными рамками и, в свою очередь, определяет иерархию текущего содержания культурной памяти, то есть очередность соподчинённых образов места. Упрощение и редукция к единичному и безальтернативному сконструированному образу, исключённому из цельного комплекса ассоциаций и внутренних соотношений, в итоге приводит к обеднению его собственного содержания и сведению на нет творческого потенциала. Сохранение же потенциальной

многовариантности образа затрудняет манипуляции при актуализации и акцентировании, так как образ как хранилище альтернативных смыслов не затронут и не повреждён. Обеспечивается сосуществование исторического (образ в его полноте и диахронической перспективе) и актуального (легитимный порядок выстраивания частей образа, вытеснения / демонстрации, циркулирующий в ситуации «сейчас») нарратива культурной памяти, проводимой медиатором-местом.

Полнота образа места раскрывается в понятии ландшафта. Одним из научных направлений, работающих с этим понятием, является гуманитарная география, исследующая вопросы соотношения географического пространства и представлений о нём – становления освоенного культурой пространства, места. Место как реальное физическое пространство, наделённое человеком множественными значениями, обозначает в гуманитарной географии понятием культурного ландшафта. Отказываясь от фетишизации вещно-объектного пласта и детерминации социокультурных процессов областью материального, гуманитарная география ставит в центр ландшафта не материальные артефакты, а фигуру человека и его способность к осмыслению и переживанию окружающих его объектов. Исходя из этой позиции, создать место / культурный ландшафт значит окружить локальность человеческим значением, вписать человеческую мысль в географическую реальность. Представление о ландшафте выстраивается посредством осмысления, означивания, символизации, поэтому для гуманитарной географии равнозначно важно изучение как материально-пространственной, так и символической составляющей ландшафтов. Культурный ландшафт выступает следствием и итогом процесса наделения материального пространства смыслами, в результате которого создаются целостные нематериальные пространства (воображаемые, социальные, культурные), закреплённые, укоренённые, в пространстве.

Гуманитарная география и концепция культурного ландшафта не обошла вниманием и проблематику культурной памяти. Выделяя среди

неотъемлемых характеристик культурного ландшафта среди прочих подлинность, временную протяженность и поддержание связи настоящего с образами прошлого, исследователь отечественного направления гуманитарной географии Ю.А. Веденин также указал на способность ландшафта к вмещению культурной памяти как в актуальном и «открытом» состоянии, так и в потенциальном и «скрытом» во множестве материальных и нематериальных элементов и компонентов ландшафта и осуществления перехода в его рамках культурной памяти из одного модуса в другой и обратно.<sup>1</sup> Ощутимый вклад в исследование образов культурного ландшафта и его роли в процессах сохранения и передачи культурной памяти внёс семиотический подход гуманитарной географии, рассматривающий пространство как многоуровневую систему с характерными текстами и кодами, а культурный ландшафт – как особую знаковую систему (в продолжении семиотической теории Ю.М. Лотмана и В.Н. Топорова). Одна из основоположниц данного подхода, исследовательница О.А. Лаврёнова, указывает на неотделимость географического пространства «от созданных культурой образов и символов, обретающих характеристики целостной системы, которую можно обоснованно рассматривать как геокультурное пространство»<sup>2</sup>. Согласно семиотическому подходу, формирование культурного ландшафта происходит в рамках исторического процесса, оставляющего свои глубокие «следы» в ландшафте. Возникновение и развитие символического пласта из географических объектов становится возможным при сопряжении исторических событий и артефактов, уникальных черт природного ландшафта и воспринимающего сознания, способного установить между ними устойчивые ассоциации.

Конкретно с образом места как внутренним формообразующим элементом культурного ландшафта работает имагинальный подход. Ведущий теоретик современной гуманитарной географии в России

---

<sup>1</sup> Веденин Ю.А. Культурный ландшафт как хранитель памяти ойкумены. С. 23.

<sup>2</sup> Лаврёнова О.А. Стратегии «прочтения» текста культурного ландшафта. С. 123-124.

Д.Н. Замятин рассматривает имагинальную (или же образную) географию в принципе как когнитивное ядро гуманитарной географии в целом. Соответственно, центральным понятием имагинальной географии является географический образ, представляющий собой «систему взаимосвязанных и взаимодействующих знаков, символов, архетипов и стереотипов, ярко, и в то же время достаточно просто характеризующих какую-либо территорию (место, ландшафт, регион, страну)»<sup>1</sup>. В фокусе исследований находятся, прежде всего, строение и форма образа, его составные части, способ привязки образа к географическому пространству, способы репрезентации места посредством символов. В русле имагинального подхода объявляется тема «духа места» (лат. *genius loci*), которая более приближена к пониманию места или ландшафта уже не только как представления и вмещения символов-разметки культурной памяти, но и как её медиатора (Н.П. Анциферов, К. Норберг-Шульц, В. Ли, П.Вайль). Под понятием «духа места» понимается неразрывное соединение физического и символического пластов пространства, это буквально «пространство с характером». В результате семиотизации пространства возникает локальный текст, который запечатлевает в себе образ места и вбирает производные от него; в основе же локального текста лежит отношение к образу-«гению» места, человеческое субъективное переживание – страха или восхищения перед ландшафтом. «Гений» в таком понимании приближается к понятиям «чувства места» или «любви к месту» (топофилии) / «избегания места» (топофобии). Ещё более подчеркнут момент субъективности и прямого взаимовлияния между человеком и ландшафтом в понимании «гения места» как включения личности отдельного творца, чья жизнь и биография, работа и произведения связаны с определенным местом (дом, усадьба, город, поселение, местность, ландшафт), непосредственно в образ этого места (Д.Н. Замятин, Н.Ю. Замятина, В.Н. Калуцков). При такой оптике очевидна конгениальность

---

<sup>1</sup> Замятин Д.Н. Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук. С. 29.

порожденного культурой и насыщенного значениями ландшафта и отдельной личности, не просто как воспринимающего субъекта, а в полноте её уникальной биографии, проживания жизни.

Немаловажным для исследования ландшафта как медиатора культурной памяти является принятие установки рассмотрения его как палимпсеста. Палимпсест (греч. *palin* – «снова», *psaio* – «скоблю, стираю») изначально представлял собой текст рукописи, написанный поверх стёртого или соскобленного прежнего текста. При метафорическом переносе на понятие культурного ландшафта последний представляется как многослойная структура, состоящая из элементов – символических и материальных, имеющих различное время возникновения и степень сохранности, сосуществующих, взаимопроникающих и взаимодополняющих друг друга и тем самым образующих ландшафт. Этот подход позволяет окончательно отказаться от понимания места как «архива», постулируемого в том числе концепцией «мест памяти». Ландшафт в своем материальном и символическом единстве не представляет собой библиотечный каталог с отдельными карточками образов, которые могут быть перегруппированы согласно произвольным принципам, и уж тем более не выступает простым вмещением материальных объектов. Ландшафт как палимпсест обнаруживает живые взаимосвязи между включёнными в него образами и бесконечное дополнение целого образа ландшафта. Конкретное место превращается в «совокупность множества автономных пластов, обладающих вариативной иерархией. Каждый из пластов – это, во-первых, система материальных элементов; во-вторых, одна из географических характеристик места; в-третьих, некоторые (их бесконечное множество!) пространственные представления (географические образы, пространственные мифы и другие)»<sup>1</sup>. Прежние слои не стираются и не подлежат отмене, а существуют одновременно; таким образом, множество наблюдаемых объектов и их представление в настоящем совмещается с действительным существованием

---

<sup>1</sup> Митин И. Место как палимпсест. С. 23.

ранее созданных представлений. Палимпсест ландшафта является открытым процессом, который принципиально незавершен, так как каждое новое поколение оставляет свои «следы» поверх «следов», оставленных предыдущими поколениями. «Просвечивающая», проникающая структура палимпсеста предполагает межпоколенческую перспективу за счёт проглядывания разновременных пластов, сохраняющих память о прошлых состояниях ландшафта (например, напластование топонимов, чередование наименований: Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград), но и подчёркивает значимость личного отношения и восприятия отдельного человека, который своей деятельностью также не только воспринимает, но и вносит изменения в символическое и реальное освоение места.

Принципы культурного ландшафта как неразрывного единства географического и символического пространств, развивающихся из цельного образа, и как палимпсеста, обуславливающего единовременное сосуществование образных напластований в их многообразии и порой даже противоречивости, вписываются и перекликаются с установками направления феноменологии ландшафта (Ф.А. Степун «Феноменология ландшафта», В.А. Подорога «Выражение и смысл: Ландшафтные миры философии», Л.Е. Артамошкина «Сакральное и ландшафт: стратегии преодоления кризиса идентичности», «Топос, ландшафт, биография: концепция культурной памяти»). При размещении проблематики культурной памяти и места как её медиатора в поле феноменологии ландшафта, ключевым становится центральное положение человека, его тела и сознания, в мире: укоренённость человека в ландшафте и невозможность пространства самого по себе, без человека (подобный подход апеллирует к аристотелевской категории места, осуществимого только посредством размещённости в нём тела). Субъектность человека, его «отношение к», пере- и проживание мира придаёт содержание предметам и явлениям, позволяет раскрыть их сущность. Представитель экзистенциальной феноменологии М. Мерло-Понти подчёркивал фундаментальную роль

человеческого тела в посредничестве между мыслью и миром, и в целом человека как существующего в мире не только как разум / сознание, но и воплощённого как телесное существо: «сознание есть бытие в отношении вещи при посредничестве тела»<sup>1</sup>. Двойственная природа человека выделяет тело из ряда физических объектов как центральный объект, живую связь, посредством которой соединяются субъект и мир и взаимодействуют друг на друга. Человеческое восприятие, телесное и духовное, является точкой, из которой исходит перспектива, собирающая горизонт жизненного мира. Этот момент отражён и в концепции хайдеггеровского здесь-бытия (нем. *Dasein*), в котором усилие мысли предполагает прокладывание пути в определенном ландшафте, а сам образ ландшафта порождается скоростью этой мысли.<sup>2</sup> То, что мы уже обнаруживаем в мире, его «преданность», по Э. Гуссерлю, указывает на поколенческую перспективу понимания и освоения, реактивации смыслов, заложенных предыдущими поколениями.

Человек и ландшафт взаимно воздействуют друг на друга, преобразуют, и в сотворчестве порождают образы ландшафта. Они оказываются погружены в память культуры и пробуждаются к жизни индивидуальной памятью, которая их заново считывает и через себя вводит в пространство настоящего. «Следы» человеческого присутствия накапливаются ландшафтом, входят в него, вбираются в цельный образ, а затем, на следующем витке, обновлённый образ влияет на человеческое восприятие, устремлённое к нему: «Воспринимающий находит уже готовый ландшафт, но его собственное восприятие включает в уже существующий ландшафт новые черты, что становится очевидным, если сравнить восприятие одного ландшафта представителями разных культур и/или эпох»<sup>3</sup>. Человек означает и формулирует образы, осваивая пространство, находя себя в мире и выстраивая его согласно своему пониманию. Каждый раз выступая как будто первопроходцем, человек может найти опору в той

---

<sup>1</sup> Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 186.

<sup>2</sup> Щукин В.Г. Заветное «где». Топофилия и методы её исследования. С. 78.

<sup>3</sup> Артамошкина Л.Е. Феноменология ландшафта: итальянские впечатления В. В. Розанова. С. 179.

культурной традиции восприятия того или иного ландшафта, которая сложилась до него и была подкреплена восприятием предыдущих поколений, их пониманием мира;<sup>1</sup> даже если сложившиеся так образы оказываются вытеснены или забыты, сохраняется возможность их ревитализации, возвращения из области неочевидного или подсознательного.<sup>2</sup> Содержание не задано в ландшафте, который изначально выступает лишь возможной формой для него, но привносится восприятием и при уплотнении запускает генезис новых образов и новых встреч с человеческой мыслью. Именно жизнь человека заполняет и меняет культурную память, закреплённую в образе ландшафта. Восприятие мира разворачивается из точки местоположения конкретного, взращенного в культуре, но самостоятельного и уникального в акте проживания своего существования Я: «Взгляд собирает топосы в ландшафт, взглядом же ландшафт удерживается в собирающем единстве. Ландшафт предполагает усилие собирания, но удержание ландшафта в культуре, в памяти культуры становится возможным в единстве биографии и в биографическом ландшафте»<sup>3</sup>.

Структурообразующий образ ландшафта, выступающий наравне с субъектом как действующая сила в процессах культурной памяти за счёт приобретённого потенциала генерации и приращения смыслов, может быть обозначен как топос. Это повторяющийся константный, стабильный элемент, бесконечно изменчивый в деталях, который как стержень удерживает единство места как пространственной, временной и смысловой плоскости. Топос обеспечивает собой преемственность и непрерывность культурной памяти, так как сам является непрерывной последовательностью состояний, образов, возникающих в акте «проживания» места отдельным субъектом, человеком, которое фиксируется затем в образе ландшафта. Топосы / мнемотопы являются хранителями культурной памяти, объединяющей

---

<sup>1</sup> Артамошкина Л.Е. Концептуализация биографического текста в культурно-историческом дискурсе (автореферат). С. 29.

<sup>2</sup> Там же. С. 31.

<sup>3</sup> Артамошкина Л.Е. Феноменология ландшафта: итальянские впечатления В. В. Розанова. С. 181.

индивидуальный и коллективный уровень воспоминаний, и «складываются благодаря рождению, сохранению и трансляции ключевых образов, которые определяют одновременно и характер самоосуществления личности и процессы, происходящие в культуре»<sup>1</sup>. Хранителем же топосов выступает ландшафт. «В концепции культурной памяти зафиксирована непреходящая топологичность наших воспоминаний и самого пространства памяти»<sup>2</sup> – топос сопрягает собой как уровень индивидуальной памяти, биографии, воздействуя на сознание и на чувственность – визуальный, звуковой, ароматический, тактильный и иные её аспекты, так и на уровне биографии поколения, иницируя межпоколенческий диалог, располагаясь в палимпсесте ландшафта и имея возможность сохранять и транслировать в моменте настоящего образы из любой точки своего прошлого, отраженного в чем-либо восприятии.

Подводя итог, подчеркнём: выдвигание топоса культурного ландшафта в качестве новой единицы в исследованиях посредников и медиаторов в сохранении и передаче культурной памяти в направлении *memory studies* обосновано рядом причин. В первую очередь, конечно, это обусловлено недостаточностью концепции «мест памяти», представляющей усечённую модель такой сложной структуры как место, являющейся ключевой для мыслительной и физической деятельности человека. Взамен предлагаемой конструкции "мест памяти" для более адекватного и полного понимания процессов культурной памяти предлагаем обратиться к понятию топосов ландшафта. Такой подход позволяет обнаружить со-пространственность и со-временность напластований образов, порождаемых при восприятии ландшафта, их «просвечивание» сквозь друг друга, взаимодополняемость, возможность сосуществования совершенно различных или даже противоположных образов в цельном топосе: проследить преемственность культуры, механизмы актуализации – размещения образов

---

<sup>1</sup> Артамошкина Л.Е. Концептуализация биографического текста в культурно-историческом дискурсе (автореферат). С. 16.

<sup>2</sup> Артамошкина Л. Е. Топос, ландшафт, биография: концепция культурной памяти. С. 174.

на поверхности, переднем рубеже памяти культуры – и забвения – погружения образов в пространство спящего потенциального. Не только структура и механизм работы медиатора культурной памяти показан более комплексно и без упрощений; немаловажна очевидность и наглядность взаимодействия и взаимообусловленности индивидуальной и коллективной памяти посредством межпоколенческого диалога, осуществляемого посредством обращения к топосам.

## ГЛАВА II. НЕПРЕРЫВНОСТЬ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ: ТОПОС РУИН

### 2.1 Руины как особый тип культурного ландшафта

«История – не только создание, но и постоянное разрушение. Отсюда вопрос: входит ли разрушение в историю, отображается ли оно (и как) мемориальным искусством»<sup>1</sup>. Культурный ландшафт представляется палимпсестом, в котором напластования прошлых состояний ландшафта просвечивают друг сквозь друга, выступают на свет и вновь уходят в полумрак забвения, спорят и соседствуют в едином настоящем, удерживаемые топосом ландшафта. Образ ландшафта выступает в качестве хранилища многообразия смыслов и значений места в их привязке к реальному пространству, причём как в актуализированном, активном состоянии, так и в потенциальном, что расширяет возможности его творческого ресурса и способствует преемственности образа во времени. Однако, помимо становления и развития культурного ландшафта, ландшафт может быть также поврежден или даже существенно разрушен.

Существуют ли руины как «разрушенный ландшафт» - и продолжают ли они в таком случае своё существование в качестве медиатора культурной памяти? Смещается ли модус руин как ландшафта исключительно на такую сторону памяти, как забвение, угасают ли постепенно все смыслы, заложенные в ландшафт, пока он был цельным, с нарушением этой целостности; и сохраняет ли разрушенное в себе память только лишь о факте разрушения?

История знает немало болезненных событий, связанных с человеческой гибелью и страданиями, масштабными разрушениями – и если они входят в корпус воспоминаний, значит, у воспоминаний о боли также есть свои хранители. Это может быть как напрямую сам разрушенный ландшафт как руина, так и более опосредованный носитель, «смягчающий»

---

<sup>1</sup> Фарыно Е. Куда девалось, чего нет (переделки - обломки - руины). С. 153.

непосредственный контакт с обломками культуры, мемориальный объект, отсылающий к болезненному событию. Необходимо понимать, как сохраняется и изображается разрушенное, каковы его дальнейшие пути в культуре. Происходит ли в руинах вытеснение плотного образного содержания при материальной нарушенности и сводится ли в итоге их существование к роли «разметки» культурной памяти, а неё медиатору?

В первую очередь, необходимо разграничить руины и “не-места”, или же “безместье” (англ. *placelessness*), как качественно разные явления. При поверхностном рассмотрении и руины, и “не-места” подпадают под определение «исключённых» мест, отличаясь от соположенного / окружающего осмысленного и окультуренного пространства, в котором локализовано внутренне взаимосвязанное множество значений. В отличие от культурного ландшафта в его привычном понимании, руины и не-места представляются не как положительная целостность, а как отрицательная раздробленность, расколотость, разрыв. Однако, несмотря на эти точки схождения, руины не вписываются в понятие “не-мест”, так как оба этих явления не ограничиваются характеристикой «от противного» в сравнении с местами ландшафта. “Безместье” – это обозначение для результата масштабного и проникающего во все уровни культуры процесса стандартизации, сглаживания пространственных различий и особенностей. Концепция «не-мест» М. Оже дополняет свойства “безместья”, бессодержательных и сугубо функциональных (создаются и реализуются в соответствии со строго определенной инструментальной целью) точек пространства, указывая на их подверженность манипуляциям за счёт минимизации и случайности, поверхностности и ситуативности отношений, связей и реализации свободы внутри этих динамично меняющихся элементов пространства. Не-места также отличает наличие инструкций к использованию – знаков, указателей, предписаний, отсутствие собственной истории и случайные, ориентация на усредненного человека (а не

уникальную отдельную личность), легко создаваемые и разрушаемые образы, исключительное «здесь и сейчас».<sup>1</sup>

Учитывая «инфраструктурный» характер “безместья” и “не-мест”, в которых функция и (бес)полезность преобладает над смысловой компонентой, феномен руин никак не может быть сведён к ним как к вариации подобного “безместья”. На стыке между не-местами и руинами как особым типом культурного ландшафта находятся аварийные развалины и строительные свалки, которые по форме имеют сходство с руинами, но по своему функционалу являются лишь точкой сбора отходов и мусора, и относятся к “безместью”, таким местам, которых люди избегают и не формируют определённого образа в связи с ними, предпочитая использовать, но не замечать.

Другим пограничным явлением, которое может быть ложно принято за производное от руины являются «цитатные» здания-муляжи<sup>2</sup>, тотально воссоздающие прежнюю форму разрушенного места, но стирающие тем самым последний этап её истории, искусственно обращая время вспять и заставляя застыть элемент культуры в определённом состоянии прежнего времени, разрывая линию преемственности состояния и обрекая муляж на бытие копии, ни к чему кроме своего подлинника не отсылающую. Между этими полюсами разрушенной формы, лишённой содержания (свалка) и восстановленной формы с абсолютным однозначным содержанием находятся руины, не потерявшие, тем или иным способом, своего содержания и функции; те лишь изменились. Руины – «не только останки старого здания, это новый объект, обладающий специфической функциональностью и новыми смысловыми отношениями»<sup>3</sup>. Руины как разновидность культурного ландшафта становятся средоточием особого опыта.

Руины действительно не вписываются в привычные архитектурные и ландшафтные формы, воспринимаемые человеком. Несмотря на

---

<sup>1</sup> Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. С. 102-104.

<sup>2</sup> Ревзин Г.И. Почему от WTC не осталось руин? С. 48.

<sup>3</sup> Хлевнюк Д.О. Руина в городе: культурные ценности и опасность их потерять. С. 624.

функциональную исключённость, благодаря монументальности и долговечности их недопустимо рассматривать как простой изъян места, или как бесполезный мусор, подлежащий утилизации, после чего «очищенное» или «исправленное» пространство можно будет использовать повторно, создавая новые места и смыслы. Вырванность руин из контекста повседневности, их подчёркнутая исключённость привлекают внимание, заставляют изменить перспективу, сфокусировать внимание на месте, внутри которого находится человек, чьи перемещения зачастую происходят как бы в расфокусировке, неосознанно по отношению к пространству, схлопывающемуся к маршруту от точки А к точке Б: «С руиной нечего делать, но её можно долго и с интересом разглядывать, сфокусировав внимание не на функциях (у развалин они отсутствуют), а на самой её данности. По способу существования руина сближается с природными объектами (горами, озёрами, реками, деревьями, травами, животными и т.д.)»<sup>1</sup>. Руины бросают вызов прилегающим местам и привычному восприятию культурного ландшафта субъектом, оспаривают не только привычное пространство, но и привычное время – нарушают обыденное «здесь и сейчас», врываются в него отражением прежних эпох, в которые они существовали и налёт которых несут на себе, и прерывает рутину повседневности манифестацией разрушения, разрыва, боли, о котором руины своей сутью свидетельствуют.

Французский историк Мишель де Серто поэтично отзывался о руинах как о своенравных «очажках сопротивления упрямого прошлого», которые как пережитки минувших эпох пытались уничтожить для размещения новых объектов и значений в пространстве, зачистить до *tabula rasa*, которая стала бы точкой отсчёта для чего-то нового, но тщетно. Ему же принадлежат метафоры руин как «обломков кораблекрушений», «обрывков историй», наглядно подчёркивающих их связь между временами и момент разрушения – это всегда часть, взывающая из момента настоящего к целому, которого

---

<sup>1</sup> *Лишаев С.А.* Игра руин (материалы к эстетической аналитике руины). С. 88.

больше нет, но которое существовало в длительности прошлого. Руины – «это призраки, которые отныне регулярно являются системе городского планирования», шрамы, не дающие забыть, всё явственнее проступая на вычищенных и однотипных пространствах современности и «создавая ухабы на гладких утопиях нового».<sup>1</sup> Контраст настолько ощутим, что не может быть оставлен без внимания. Руины неизменно вызывают недоумение и удивление, заставляют совершить остановку в движении тела и мысли, вовлекая человека в область рефлексии. Они побуждают спросить: «А что здесь случилось?». Первичное удивление инициирует вереницу последующих вопросов и догадок, адресованных этому нетипичному месту, выпирающему осколком неизвестного, вытесненного, даже страшного в своем кричащем безмолвии среди «прирученного» и освоенного пространства вокруг, расчерченного понятными значениями или, по крайней мере, указателями на них. Руины могут быть разных масштабов; очевидно, наиболее знакомыми представляются руины отдельных зданий (домов, усадебных домов, дворцов, замков, храмов) или целых ансамблей, но руина может уменьшиться до размеров старинной детали, выпавшей из контекста будней и постепенно ветшающей, отдаляющейся от вещей сегодняшнего дня, как, например, «крыша, изрезанная ажурными окнами, как готический собор» или «элегантный колодец в тени захудалого двора», эти «характерные персонажи» на городской сцене, слагающие вокруг себя городскую сагу.<sup>2</sup> Несмотря на свою исключённость из настоящего, дистанцированность, руины, в то же время, открывают внутри него некую глубину.

Сгущение чувства присутствующего в настоящем прошлого и одновременно с ним чувства неостановимой быстротечности времени – одно из ключевых свойств руин. Интерпретация, вступление в интеракцию с топосом руин есть акт преодоления временной дистанции между субъектом и

---

<sup>1</sup> Серто М. Призраки в городе [Электронный текст].

<sup>2</sup> Там же.

тем, что актуально предстаёт перед ним в форме руины.<sup>1</sup> Таким образом, руина, как и другие культурные ландшафты, удерживает и совмещает в едином пространстве несколько темпоральностей. Разрушение на материальном уровне как неотъемлемая отличительная черта руины, тем не менее, не затрагивает целостность внутреннего смыслового содержания. Более того, физическое отсутствие обуславливает преобладание символического пласта, смыслового поля значений, подчёркнутого и сконцентрировавшегося в связке с материальными остатками. Смысловая нагрузка руин как бы удваивается, так как они не только осуществляют сохранение и преемственность культурной памяти, что свойственно и другим местам культурного ландшафта, но и свидетельствуют о наличии разрыва и потери, причём не через погружение части многослойной структуры палимпсеста в область потенциального и неактуализированного, а напрямую, демонстративно, через собственную форму. «Руина как материальный объект прежде всего свидетельствует о течении времени, об утрате того, что когда-то казалось неотъемлемой частью настоящего. Вместе с тем если руина уцелела, то это значит, что некий остаток прошлого остался в современности, пусть и в состоянии определенного упадка, то есть в измененном виде.<sup>2</sup> Топос руины утверждает устойчивость прошлого и культурной памяти, его структура однозначно даёт понять важность субъективного усилия по «сборке» разрушенного ландшафта воедино для восприятия – делает этот процесс более очевидным, нежели при объятии взглядом ландшафта как такового, где совершается аналогичное усилие – но, вместе с тем, предупреждает о хрупкости медиаторов культурной памяти и угрозе её возможной потери.

Принципиальная фрагментарность руины определяет её состояние как между «ещё не» и «больше не». Этот подчеркнутый момент важности живого настоящего, контрастный на фоне образов прошлого, заключённых в руине:

---

<sup>1</sup> Фёдоров В.В., Давыдов В.А., Левиков А.В. Архитектурные руины в современном мире. С. 17.

<sup>2</sup> Шёнле А. Апология руины в философии истории. С. 24.

прошлого как момента прерывания прежнего существования ландшафта, его деформации и нарушения, отсылающего к экзистенциальному чувству конечности человека и непрочности его творений, и прошлого как того, что было до разрушения, длительной цепи преемственности и расширения поля сопричастных этому месту смыслов, отсылающего к чувству укоренённости человека не только в пространстве, но и в культурной традиции, в последовательной смене поколений. Неизбежность прекращения жизни в её неустанном становлении, которое, казалось бы, может длиться вечно, случайность наступления этого момента и случайность же того, что сохранится после, а что уйдет навсегда – такие коннотации несёт в себе руина, помещая человека в ситуацию «выжившего» среди обломков прошлого: «Переживание прошлого как особенного (старого) трансформируется в переживание давно завершённого прошлого (древнего), а чувственная данность конечности существования в образе бытия-на-границе бытия преобразуется в переживание разрушенности как того, что ожидает любое, даже самое долговечное сущее (то есть свидетельствует о бренности всего, что существует-вещствует)»<sup>1</sup>. Топос руин является сильным аттрактором за счёт того, что его смысловое поле чрезвычайно плотно нагружено и предполагает скорее не созерцание, а работу воображения. Это несомненно уже переживание, экзистенциальное чувство, основанное на игре чувств, образов, представлений, смыслов, которые запускаются при соприкосновении телом и мыслью с «раненым» ландшафтом. Игра воображения обусловлена самой фрагментарной формой. Руина представляет собой одновременно итог разрушения и продолжающийся процесс распада, который будет завершён лишь с полным исчезновением последних остатков руин; стирается грань между целым и фрагментарным, внешним и внутренним, прошлым и настоящим, величественным и жалким.<sup>2</sup> Собирающий ландшафт взгляд субъекта движется от имеющейся формы

---

<sup>1</sup> *Лишаев С.А.* Игра руин (материалы к эстетической аналитике руины). С. 86.

<sup>2</sup> Там же. С. 84.

руины – к отсутствующей форме её прежнего вида, от части – к целому и обратно.

Если ранее топос руин был связан, прежде всего, с представлениями о так называемых природных руинах (о которых писал в своё знаменитом эссе «Руина» Г. Зиммель), то после событий Второй мировой войны вектор рассмотрения руин меняется. Природная руина отсылала к образу гармоничного и непротиворечивого единства природы и культуры, воплощала собой новую целостность искусственного и естественного, вызывала лёгкую ностальгию по отбушевавшему «золотому веку», который ныне примирился с вечностью. Это был глубокий след прошлого человечества, постепенно растворяющийся в торжестве и буйстве природной жизни. Для культивации эстетического чувства, рождающегося при созерцании подобных руин, возводились «ложные» декоративные руины, которые использовались как убежище от суетного мира текущего дня, украшая собой садово-парковые ансамбли. Вместе с тем тревога от осознания мимолётности и хрупкости человеческой жизни и творений культуры оформила меланхолическую тенденцию к фантазиям о «будущих» руинах: архитектурные фантазии Дж. Пиранези и Ю. Робера о том, как будут выглядеть руины современных им зданий (таких как дворец Версаль в Париже, воплощавший средоточие человеческой жизни, её устремлений и превратностей), или архитектурная теория А. Шпеера в русле нацистской идеологии, подразумевавшая постройку зданий изначально с учётом процесса превращения в руины со временем, для того, чтобы целенаправленно подчинить и повлиять не только на восприятие современников, но и многих поколений будущего, или образы миров-антиутопий из литературных сюжетов, в которых человечество выживает на руинах потерпевшей крах цивилизации. Проецирование существующих руин на состояние мира вокруг в настоящем – или даже в будущем – указывает на силу этого образа.

Но преобладающим видом руин, на которые ориентируется современность – это руины катастроф. Ландшафты и сооружения, пострадавшие в ходе войн, стихийных бедствий, террористических актов. Они не преданы спокойно земле берущим своё временем, они выпирают развороченными осколками жертв современности, манифестируя не умиротворение и лёгкую меланхолию, ностальгию, а диссонанс, разрыв, несоответствие. Руины катастроф отсылают к образам разрушения, заброшенности, смерти. Это пространство боли, которое болезненно и для восприятия: «Очень трудно жить в постоянном присутствии такого мощного символа войны, как руины. Подсознательно общество стремится минимизировать их присутствие в повседневности»<sup>1</sup>. Но таких руин, связанных с войнами и катастрофами, произошедшими по вине человека, в мире всё больше: Купол Гэмбаку в Хиросиме, разбомбленные и ныне восстановленные старые города Дрезден и Варшава, опустевшая после техногенной катастрофы Припять, концентрационные лагеря Дахау и Освенцим. Эти места-раны, свидетельствующие о нарушении и разрыве целостности не только материального ландшафта, но и человеческой мысли или даже сути, обладают такой «чудовищной силой образа смерти, страдания, боли, разрушения»<sup>2</sup>, которая вместе с тем делает их чрезвычайно сильными медиаторами культурной памяти, потому что та память, которую они хранят – воплощенная боль – настолько колоссальна и нестерпима, что не поддаётся забвению. Лишь вытеснению, в том числе посредством прямого стирания руин с лица земли. Но невозможно игнорировать тот факт, что самое памятное место немецкой истории, например – это как раз лагерь Освенцим.<sup>3</sup> Запрос на осмысление руин, сформировавшийся в наше время, может быть шире трактован как необходимость открытия новых способов понимания и самой культуры.

---

<sup>1</sup> Фёдоров В.В., Давыдов В.А., Левиков А.В. Архитектурные руины в современном мире. С. 19.

<sup>2</sup> Замятин Д.Н. Пространство руин: (образ наследия в культуре). С. 153.

<sup>3</sup> Франсуа Э. «Места памяти» по-немецки: как писать их историю? С. 31.

## 2.1 Потенциал руин в процессах культурной памяти

Плоскости разных времён сходятся в руине, вмещающей их в себе и выступающей необходимым условием диалога настоящего момента с ушедшими эпохами. Время более не представляет необратимую цепь последовательностей, каждое звено которой хоть и связано с предыдущим и последующим, но, тем не менее, предстаёт скорее изолированным и самодостаточным элементом, сосредоточенным на себе. Руины «стягивают» время в едином пространстве и меняют конфигурацию его структуры, в результате чего разные длительности которого оказываются не пригнаны друг к другу, а совмещены, из цепи – или линии – образуя объемную, плотную фигуру, гранями которой становятся многочисленные срезы прошлого, настоящего и будущего. Сохранена внутренняя логика и взаимосвязи между различными темпоральностями в их следовании друг за другом, однако, сведённые в едином пространстве (которое, будучи материальным и демонстративно-воплощенным, в руине отодвигается на второй план и предоставляет возможность наглядно развернуться чувственному воплощению уже самого времени, обычно куда менее уловимой величине), времена являют собой разные грани, стороны, перспективы единого целого. Очевиднее становится их взаимопроникновение и нераздельность. Сущность руин предоставляет возможность ракурса из момента настоящего времени в прошлое (момент разрушения, протяженность бытования места до разрушения, «древнее» прошлое – «что на этом месте было до *всего?*»), но и затрагивает модальность будущего (руины находятся в постоянном процессе дальнейшего устаревания и разрушения, «что будет на месте руин?»). Топос руины проходит сквозь плоскости времён и объединяет в цельное единство.

Образование площадки для встречи времён реализуется в руине сразу на нескольких уровнях: во-первых, в самой руине за счёт её имманентных характеристик, во-вторых, внутри взятого в более широком

масштабировании культурном ландшафте, включающем руину и граничащие / включающие её места, за счёт присущему культурному ландшафту как таковому характера палимпсеста. При восприятии ландшафта как палимпсеста пространственно-материальные воплощения и маркеры разных времен сосуществуют, «просвечивая» и «проглядывая» в соположенности или даже в прорастании через друг друга: сквозь призму настоящего видны и распознаваемы прошлые слои, представимы и вообразимы также и будущие. При этом при считывании прошлого или прогнозировании будущего человек ориентируется и отталкивается от образа места, потенциально допускающего такие мыслительные операции. Образ места углубляется как в прошлое, так и в будущее. Пространство выступает способом упорядочения времени, таким, которое не выстраивает его в стройную линию, а обеспечивает попеременное (при переключении с одного модуса на другой) или даже одновременное (при широкоугольном ракурсе, объединяющем разные модусы в одном фокусе) присутствие разных времён, каждое из которых приобретает своё место. «Давая простор» времени, месту возвращаются приметы и следы его прошлых воплощений, и можно говорить как о соположенности разных времён, так и об одновременности различных пространств. Руина в палимпсесте, если от напластования разных времён вернуться к исходному образу этой метафоры, а именно – испещренной записями рукописи, предстаёт той частью, которая почти стёрта до дыр, но на тончайшем, местами уже утерянном, материале различимы самые первые надписи, обнажившиеся из-за процесса расслоения и разрушения бумаги. Так и в руине можно обнаружить подобное прямое «просвечивание» собственного смыслового ядра, образа ландшафта, который оказывается вскрыт повреждениями материальной формы. Топос руин обеспечивает единство времени «вглубь», в рамках самой руины – и «вширь», в рамках палимпсеста соположенных мест.

С позиций процессов сохранения и передачи культурной памяти крайне важен момент подобного совмещения разных «времяпространств»,

благодаря которому разные альтернативные или даже конфликтующие перспективы не вытесняются окончательно и не вычеркиваются, а сосуществуют и находятся в продуктивной интеракции друг с другом, потенциальном единстве в многообразии. Это свойство места было подмечено в понятии «гетеротопия» М. Фуко, упоминавшемся ранее. Гетеротопия – это пространство, обуславливающее единовременное сосуществование несовместимых или конфликтующих образов места, находящихся друг с другом в активном взаимодействии – они трансформируют, оспаривают друг друга, но при этом исходят из единого общего, «материнского» образа, который расщепляют своим категорическим различием. Не выбор в пользу одного из этих производных образов и сведения на нет конфликта, а принятие неоднозначной ситуации и диалога-спора между различными позициями должно послужить основой для выстраивания многовариантной и демократичной, включающей всё многоголосие субъектов культурной памяти общности, которая сама по своей сути всегда неоднородна. Независимость от дискурсного давления, скрещение разных перспектив делает подобные места-гетеротопии рискованными для манипуляций, они подрывают, «опрокидывают гегемонию одного дискурса»<sup>1</sup>. Эта всеохватность, способность сопоставлять в едином – разное, изолированность (независимость) и одновременно с тем проницаемость (незамкнутость на себе), составляющие суть гетеротопии,<sup>2</sup> хорошо ложатся на представление о сложной структуре места как медиатора культурной памяти. Подпадают под характеристику гетеротопии и руины, если опираться на определение гетеротопий как «фактически реализованных утопий, в которых все остальные реальные местоположения, какие можно найти в рамках культуры, сразу и представляются, и оспариваются, и переворачиваются: места, находящиеся за пределами всех остальных мест,

---

<sup>1</sup> Балаклеец Н.А. Творческий потенциал пространства жизненного мира как основание социо-гуманитарных наук. С. 239.

<sup>2</sup> Попова О.В. «Праздник времени»: руины как архитектурные гетеротопии. С. 193.

хотя, несомненно, они фактически локализуемы»<sup>1</sup>. Действительно, руины вырывают человека из привычных ему пространств и вовлекают человека в процессы рефлексии, осмысления, в том числе и за счёт контраста формы и содержания в сравнении с другими местами; и, при всей смысловой загруженности и материальной разрушенности, руины, тем не менее, имеют своё закрепленное расположение во времени и пространстве.

Несомненно, необычность руин, их исключительность бросается в глаза при пересечении пространства, в первую очередь, за счёт формы, в которой они предстают взгляду. Это обнажённая «рана» ландшафта, форма разрыва, разрушения, разлада. В то время как другие материально-пространственные посредники культурной памяти (будь то целые культурные ландшафты или отдельные здания) обладают цельной формой, руины представлены в своей неполноте и фрагментарности. Разные формы определяют разные способы не только сохранения, но и передачи смыслов. Так, неповреждённые строения, даже с возможными следами старения или отпечатками времени, в большей степени хранят память о конкретном в культуре – они возведены в соответствии с определенными канонами и идеалами, в определенном архитектурном стиле, выполняют определенную функцию, которая может меняться с течением времени, но всегда чётко зафиксирована; по аналогии культурные ландшафты как более крупная единица также обладают набором фиксированных черт, неизменных и узнаваемых. Это «память о чём-то», где «что-то» не остается неопределенным, оно конкретно и может быть названо, так как обладающие целостностью формы медиаторы впитывают и отражают идею своего времени, в котором плотно укоренены, его контекст, ухватывают его «живую суть», которая уже с позиции настоящего считывается как «воспоминание» или «след». Целенаправленно подобный способ запоминания воплощается в мемориалах, также цельной форме, но имеющей динамику не из прошлого – в настоящее, а из настоящего – в прошлое. Мемориалы, согласно А. Ассман,

---

<sup>1</sup> Фуко М. Другие пространства. С. 196.

являются «материальной» реконструкцией того, что было раньше, сознательным припоминанием, призванным восполнить пробел между прошлым и настоящим, истончение каких-то участков их взаимосвязи: каждая группа нуждается во внешних атрибутах для формирования культурной памяти и сознания общности, «люди помещают свои воспоминания не только в знаки и предметы, но и в места, пространства, пейзажи»<sup>1</sup>.

В то же время, форма разрыва, в которой существуют руины, помимо содержания смыслов, отсылающих к конкретным значимым моментам прошлого, является также вместилищем для памяти как таковой, то есть напоминает о необходимости помнить и об угрозе полного забвения, припоминает саму необходимость поддержания культурной памяти – функция, схожая с зарубками на дереве, нарисованными крестиками на руке или узелками на верёвочке, «на память», которые напоминали о необходимости запомнить что-то, не забыть, не указывая напрямую, что именно подлежало запоминанию. Зачастую в руинах даже непринципиально то, что именно было разрушено, какой была прежняя форма: был ли это дворец или конюшня, жилой дом или церковка, в каком стиле сооружение было возведено и в каком веке. Важны детали и те характеристики руины, которые определяют её топос как отсылающий к вневременному, при этом не пренебрегая, но преодолевая конкретные времена своего бытования: «Руина предстает как предмет восприятия, данный здесь и теперь, и она же воспринимается как “живой” свидетель прошлого (прошлое, которое здесь, теперь). О прошлом свидетельствует остаточная архитектурная форма, каменные детали декора и т.д., принадлежащие к иной эпохе, иной культуре, а также вся “пatina времени”, осевшая на фрагментах руинной формы. Эта “пatina” (эрозия камня, покрывающие его мхи, лишайники, травы и т.п.) позволяет ощутить прошлое даже в том случае, когда мера разрушенности сооружения или неопределенность его архитектуры <...> таковы, что

---

<sup>1</sup> Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. С. 91.

позволяют опознать в нём остатки строения, дошедшего из глубины веков, и... не более»<sup>1</sup>. Даже если детали определенного прошлого уже не считаются, «патина» времени как такового неотъемлема от формы руин.

Отрывочность и неполнота формы руин выступают в качестве плодотворного ресурса для выполнения роли медиатора культурной памяти также в ином ключе: руина побуждает наблюдателя к исследованию оставшихся фрагментов, включает его в поиск следов и примет, по которым можно было бы выстроить цельный образ. Посредством этого оказывается подчеркнут индивидуальный, личный момент включённости субъекта в процессы культурной памяти, выведен на поверхность процесс собирания ландшафта, места, посредством к обращения человека к его образу через опосредованные и соподчинённые черты и штрихи. То, что при восприятии других культурных ландшафтов оказывается сокрытым, менее очевидным, даже безотчётным – непосредственное участие человека, от восприятия и понимания которого зависит не меньше, чем от осуществляемой в рамках культурной памяти коммуникации и присутствующих в разных областях жизни её посредников и носителей – в соприкосновении с топосом руин становится буквальным: воображение, ум и чувственность отдельного индивида при соприкосновении с насыщенным предыдущими поколениями значениями и смыслами местом начинают расшифровку, складывают мозаику целого и воображают её, каждый со своими акцентами и неповторимой перспективой. Руина – не только материальный объект, но и – возможно, даже *прежде всего* – смысловая конструкция. И опыт соприкосновения с ней помогает раскрыть модель интеракции с местом как медиатором культурной памяти как таковым; ведь в ней быстрое и почти безотчетное схватывание смысла, возможное в цельных местах, затруднено, замедлено.

Подчёркнутость субъективного момента переживания руин отражается и в том, что руины не ориентированы на «знатоков», которые, например,

---

<sup>1</sup> *Лишаев С.А.* Игра руин (материалы к эстетической аналитике руины). С. 93.

могут глубже считать контекст исторических старых построек, или «обывателей», на которых нацелены усредненные не-места, испещренные инструкциями и рекламой и стремящиеся к культивации однотипных и простых реакций. Взаимодействие с руинами доступно каждому и не требует привлечения дополнительных знаний, которые могут выступить лишь в роли вспомогательного материала. Взгляд конкретного человека собирает воедино образ руины, и уже этот образ связывает его частную перспективу, исходящую из его уникального сознания и жизненного опыта, с линией времени – коллективного, общего, древнего. Самостоятельное прокладывание пути при посредничестве медиатора от индивидуального к коллективному, от Я к Другому, от настоящему к темпоральностям прошлого и будущего помогает усвоить свою роль и свои возможности в сохранении культурной памяти через личный опыт, не посредством декларирования или повторения, а через акт собственной осознанной причастности, своего действия. Более того, пережитое уже не воспринимается как усвоенное извне; это даёт возможность общности и каждому её члену в отдельности переживать свою причастность, ощущать место в рядах преемственности, определять себя в контексте уникальной частной и общей истории. В том числе это касается места, выступающего посредником в данных процессах: по сути, оно оказывается биографией пространства, складывающейся «в русле конкретных биографий его обитателей и посетителей»<sup>1</sup>, является растущей и постоянно дополняемой совокупностью воспоминаний, впечатлений и образов, привносимых людьми из средоточия собственной жизни.

Другим аспектом, посредством которого обеспечивается функционирование руин как посредника особого модуса памяти, является мультиперспективность. Сама по себе руина уже обладает многослойной структурой, внутри которой, объятые единым пространством, сосуществуют

---

<sup>1</sup> Аванесов С.С. Архитектурная среда и «объективное» восприятие города (к понятию визуальной автобиографии). С. 26.

разные времена: прошлое, настоящее, будущее. Но топос руин обеспечивает также возможность реализации «многофокусного зрения» субъектом: «зритель лишён устойчивой точки зрения, тем самым вводятся принципиально множественные перспективы в отношении прошлого»<sup>1</sup>. Форма руин не предполагает единой перспективы, так как нет чётких границ между внутренним и внешним, присутствующим фрагментарным и отсутствующим целым; взгляд постоянно движется в этом свободном пространстве. Так и в плане содержания в фокусе удерживаются одновременно разные пласты времени, разные гроздья ассоциаций и смыслов, разные перспективы – за счёт совмещенной укоренённости руины в прошлом, темпоральности субъекта и его интереса / удивления в настоящем, области воображения, затрагивающей и будущее. Немалое значение имеет и многовариантность и разнонаправленность раскрывающихся значений, свойство гетеротопии, обогащающей стратегии восприятия: «Руины отсылают не к изначальной точке существования цельного предмета, а к тому разнообразию форм и функций, которыми предмет обростаёт на протяжении своего существования <...> Они заявляют о пересечении прошлого и настоящего, о многорусловом характере истории, о существовании альтернативных исторических рядов, о возвращении прошлого или его подспудном существовании в настоящем»<sup>2</sup>. Создаётся творческое единство пространства, времени и смысла, позволяющее рассматривать смыслы, актуализированные топосом руины, с разных позиций и ракурсов.

Исключённость и необычность формы, равно как и открывающаяся насыщенность содержания, принуждают человека совершить остановку. Это простое действие – почти роскошь в современном всё ускоряющемся и вечно спешащем (в неопределённом направлении, а иногда, кажется, и вовсе без него) мире. Настоящее время всё ускоряется, уплотняется, сжимается, и даже

---

<sup>1</sup> Гавришина О.В. Фотография как руина. С. 63

<sup>2</sup> Шёнле А. Апология руины в философии истории. С. 24-25.

самым новым явлениям приходится выдерживать темп в этой страшной гонке, чтобы не устареть, едва появившись. Более того, настоящее ведёт неустанный натиск на все остальные времена<sup>1</sup>, если не исключая их совсем, то упрощая и уплощая. Это уплощение и упрощение сводит сложные и комплексные структуры и механизмы сохранения и передачи культурной памяти к схематизированным, управляемым конструкциям. Недостаток внимания и недостаток времени для рефлексии, через которую должен тщательно проходить процесс определения актуальных, отзывающихся запросу сегодняшнего дня смыслов культуры, которые бы способствовали её развитию в перспективе будущего, приводит к таким неаккуратным и вредоносным практикам, как «архивация» и «музеефикация» культурной памяти, её застыванию в неестественных обрывочных экспонатах, изъятых из собственного контекста и стремительно теряющих способности к медиации. Смысл коммеморативных практик постепенно регрессирует к внешней ритуальной форме повторения без понимания; живые культурные связи начинают отмирать, разрываться. Посредники культурной памяти, вместо вовлечения субъекта в непосредственный опыт, превращаются в шаблонные и малосодержательные конструкции, легко манипулируемые и заменяемые. К сожалению, подобное расшатывание механизмов работы культурной памяти не может не иметь серьёзных негативных последствий, а именно – постановку под вопрос жизнеспособности устоявшихся ранее способов и необходимость выработки новых, способных выдержать и соответствовать требованиям настоящего времени; промедление в этом вопросе же приводит к усугублению кризиса исторического сознания, прерывистости культурной преемственности, утрату традиций и потерю ориентиров и ценностей, которые бы определяли вектор дальнейшего развития общности. Ситуация такова, что без налаженной системы формирования коллективной идентичности общности на основании тех значений, что сохраняются

---

<sup>1</sup> Huyssen A. Nostalgia for ruins. P. 10.

культурной памятью, под угрозой смыслового обеднения и даже разрушения вовсе оказывается сама культура.

Но руины ещё могут совладать с неистовым потоком настоящего. Будучи не просто материально воплощенными приметами прошлого, но и местом, отсылающим напрямую к вневременности и времени как таковому, руины сопротивляются манипуляциям и вовлечению в «войны памяти» или переписывание истории, так как им весьма сложно придать удобное, «нужное и единственно правильное» звучание. Что ещё менее поддаётся подделыванию или переделыванию: потенциал руин как вместилища для памяти-боли, не манифестируемой и регламентируемой, а переживаемой. Болезненные события прошлого – тема слишком острая и неудобная, сложная и многоплановая, из-за чего её трудно без лишних проблем вписать в очередную конструкцию, не вызвав резкого общественного резонанса неосторожными действиями (для примера стоит вспомнить, какой болезненной и непростой темой до сих пор оказывается введение в поле дискуссии «неучтённых» жертв Второй мировой войны – женщин из немецкого населения или разбомбленных до основания немецких городов, а также других). Хотя, конечно же, при достаточном уровне абстрагирования и умелой расстановке новых акцентов, даже такое проблемное поле может стать управляемым. Но руины как медиатор культурной памяти воплощают в себе, на уровне как формы, так и содержания, определённую рану, шрам, нанесённый культуре и разделяющей её общности. Топос руин физически и ментально ощущается как рана, боль, страдание, болезненное разрушение целостности. Этот эффект тотален, так как позволяет субъект пережить частичку боли прошлого благодаря медиации руинного «времяпространства». Так, посещение бывших концентрационных лагерей Дахау и Освенцим на территории Германии и Польши или остатков уранового лагеря «Бутугычаг» из системы ГУЛАГ в Магаданской области России оказывает интенсивнейшее и непосредственное воздействие, почти прямую передачу заключённой в них памяти-боли, хоть и смягчённой

дистанцией времени. Поэтому, когда речь заходит о руинах, их постепенное исчезновение и забвение вместе с ними некоторого смыслового поля не означают, что их можно маркировать как «места забвения»; пока руины сохраняются, они, наоборот, в предельном напряжении напоминают о прошлом, не дают его забыть, замалчивать, игнорировать. «Местами забвения», или даже «местами незнания»<sup>1</sup> рискуют стать именно абстрактные и разорвавшие живые связи с культурой искусственные конструкции, постепенно вытесняющие другие способы передачи и сохранения культурных смыслов.

Однако, современность не находит необходимости ни в руинах, ни в шрамах. Если последние маскируются косметологически, как и признаки старения кожи, вроде пигментных пятен или морщин, то с руинами поступают аналогично, но уже не в масштабах отдельного человеческого тела, а целого культурного ландшафта. Память-боль действительно трудно выносима, так как неизменно провоцирует ответную реакцию, не оставляет равнодушным, её критически тяжело игнорировать или «спрятать», даже под знакомыми зелёными фасадными тканями-сетками, в которые иногда облачают целые здания и ансамбли. Опасность для этого медиатора культурной памяти двояка: с одной стороны, из-за фактора времени всегда присутствует угроза потери и окончательного исчезновения самого материального объекта руины, с другой – куда большей опасностью является потенциальная потеря смысла руины, её обезличивание. При сносе и расчистке руин под основание новых объектов, разумеется, уничтожается и форма, и содержание. Более коварным оказывается момент, когда руину решают целенаправленно поддерживать или даже восстанавливать. На первый взгляд идея восстановления руины кажется однозначно правильной, в силу значимости этого посредника культурной памяти.

Тем не менее, как верно заметил М. де Серто, результат любых реставраций – компромисс: «Обновлённые “старые камни” становятся

---

<sup>1</sup> Джэдт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? С. 69.

перевалочными пунктами для призраков прошлого и требований настоящего. Они – проходы в многочисленных пограничных ограждениях, отделяющих друг от друга периоды, социальные группы и практики. Точно так же, как публичные площади, к которым ведет множество разных улиц, обновленные здания представляют — в историческом, а уже не географическом смысле — пункты обмена воспоминаниями. Эти своеобразные железнодорожные стрелки обеспечивают циркуляцию коллективного и индивидуального опыта»<sup>1</sup>. С одной стороны, руины не замыкаются на себе, отчасти сглаживается их изолированность, оторванность от других мест, они используются исходя из запроса настоящего. Но если реставрация заходит слишком далеко и слишком сильно затрагивает форму – а значит, и содержания – руины, например, при тотальной реконструкции, вместо чрезвычайно насыщенного и продуктивного ресурса культурной памяти получается фальшивка, симулякр, бессодержательная копия, муляж. Ведь тотальная реконструкция, воссоздающая точь-в-точь то, что было разрушено – это выбор в пользу одного варианта, считающегося единственно верным, а нереконструированная руина порождает множество вариаций и дает простор воображению. Более того такое грубое нарушение стирает топос руины, стирает напластования времени, утверждая стерильное и пустое по смыслу пространство, которое отсылает лишь к одному значению – показывать, что здесь было – и в своей новизне и бессодержательности заставляет недоумевать, «а куда подевались предыдущие века», «разве ничего тут не происходило?»<sup>2</sup>.

Ценность руины, прежде всего, в её подлинности. Истинность этого места, его укоренённость в мире, в культуре, в жизни отдельных людей, одновременно хрупкая и невероятно стойкая правдивость прерванного бытования и начала жизни «после» в качестве руины это подтверждают: «Её точка отсчёта – история превращения в руину – это и есть её нарратив,

<sup>1</sup> Серто М. Призраки в городе [Электронный текст].

<sup>2</sup> Фарыно Е. Куда девалось, чего нет (переделки - обломки - руины). С. 192.

вполне законченный, часто чрезвычайно ценный для памяти общества (как, к примеру, в случае военных руин). В этом смысле руина, возможно, один из немногих материальных объектов, который сохраняет прямую связь с прошлым. Несмотря на то что руинированное здание начинает новую жизнь, новую главу в своей биографии и может оказаться и декорацией для фильма ужасов, и местом паломничества туристов, оно тем не менее практически не меняется. Прямая связь с прошлым сохраняется у руины, поскольку она подлинна. И подлинность её заключается в том, что это те самые камни, поставленные тем самым образом, теми самыми людьми»<sup>1</sup>. Можно сказать, что руины являют собой обнажившийся каркас, опору, фундамент настоящего – и самой культуры. И под бесчисленным количеством напластований, частностей, деталей рассмотреть и увидеть те самые «кости земли», фундамент человеческой жизни – это весьма редкая и ценная возможность, дающая чувство причастности к чему-то подлинному. Руины неизменно втягивают человека в пространство личной и коллективной рефлексии – что было, что будет (со мной, с нами, после меня и нас). Неоднозначность выстраиваемых ответов и перспектив достигается во многом не только за счёт творческого ресурса совмещения времён и значений, но и контрастных переживаний, возникающих при соприкосновении с руинами: это одновременно и уважение, и жалость к останкам прошлого. «Монументальность и отдаленность происхождения развалин “внушают почтение” (восходящее чувство), а их принадлежность к царству остатков и их произвольная антропорфизация <...> вызывают нисходящие чувства: жалость и сострадание»<sup>2</sup> – контраст восходящих и нисходящих чувств, их диалектичное соединение способствует преодолению предзаданности какой-либо тональности при встрече с руинами; не предписано ни чувство триумфа настоящего над отмирающим прошлым, ни горечь от его потери, и потому руины лишь отражают, рефлектируют те

---

<sup>1</sup> Хлевнюк Д.О. Руина в городе: культурные ценности и опасность их потерять. С. 626.

<sup>2</sup> Лишаев С.А. Игра руин (материалы к эстетической аналитике руины). С. 95.

настроения, к которым свободно приходит сам наблюдающий в своих размышлениях.

Примечательно, что предыдущий пик интереса к руинам приходится на XVII – начало XIX века. В XVII веке произошёл отказ от геоцентрической картины мира, переход от оптимизма веры к скепсису науки, которая, в свою очередь, посредством достижений точных и естественных наук разверзла перед людьми бездну безграничного, труднообъяснимого и чрезвычайно сложного мироздания. Руины прежних культур были восприняты как следы хода истории и возведены в ранг идеи «прошлого»; повышенный интерес же к ним можно объяснить усилием, нацеленным на умозрительное достраивание стремительно и трагически распавшегося на фрагменты мира вновь до целого. Ситуация с поиском корней и точек целостности в чём-то параллельна современности. О «европейской культуре как культуре руин»<sup>1</sup> вновь стало актуально говорить после катастроф XX века. Слишком часто стали появляться новые руины – руины войн, разрушений, катастроф; и при этом фиксируется ощущение разрушающегося, распадающегося на части мира, разрыва времён, утраты преемственности и целостности. Человек вновь потерян. Он пытается обратиться к тем топосам культуры, одним из которых является руина, чтобы отыскать ответ на причины разрыва и ключ к восстановлению утраченной целостности, преодолению этого разрыва. Созерцания руин современности отлично от созерцания древних, «природных» руин, или руин-декораций, которые были объектом рефлексии в XVII-XIX веках. В современной руине нет столь ощутимой дистанции между прошлым и настоящим, они не автономны, а неразрывно сосуществуют в конкретной материальной данности: «становится невозможно связать “прошлое” и “настоящее” привычным образом, в конечном счёте невозможно мыслить “будущее”»<sup>2</sup>. Действительно, растёт сомнение в будущем, в человеческих силах; настоящее кажется настолько

---

<sup>1</sup> *Томан И.Б.* Культ руин. Фрагменты истории [Электронный текст].

<sup>2</sup> *Гавришина О.В.* Фотография как руина. С. 61-62.

хаотично-бессвязным, перегруженным, что совершенно не ясно, из чего впоследствии должно прорасти будущее, где определить точки преемственности в настоящем, которое морально устаревает быстрее, чем прошлое? Вновь необходимо установить границы и взаимосвязи между временами, чтобы обрести представление о пройденном пути и цели дальнейшего движения.

Именно в подобные кризисные, переходные времена, свершающиеся под знаком потери старых ориентиров и поиска новых, усиливается напряжение между полярностями устремлённости в неизвестное будущее и желанием удержать утрачиваемое знакомое прошлое: «Увлечение руинами есть знак такого рода рефлексии, при которой колебание между приверженностью идее прогресса и ностальгией по ушедшему миру, между новым и древним, по определению, не может завершиться. Это и есть диалектика “modernity”»<sup>1</sup>. Руины, представляющие собой культурный ландшафт, возникший и развивающийся на основании акта разрушения, отражают и указывают на разрывы в культурной памяти, на её болезненные точки, а потому становятся активным объектом для осмысления именно в периоды, когда общность «прощупывает» и пересматривает собственные начала и основание. Обращение к топосу руин может быть положительным для восстановления связи времён, где настоящее генерирует движение к ориентиру будущего, при этом находя поддержку и опору в прошлом. Ключевым аспектом, определяющим возможности топоса руин для моделирования стратегий медиации в процессах культурной памяти для сохранения преемственности, является их форма-содержание разрыва, образующая поле особого творческого потенциала руин. Подлинность формы позволяет ей выступать в качестве вместилища болезненного опыта, памяти-боли. основополагающий принцип двойственности целого – фрагментарного, внутреннего – внешнего, прошлого – настоящего, величественного – жалкого в руине запускает игру воображения субъекта,

---

<sup>1</sup> Шёнле А. Апология руины в философии истории. С. 28.

гарантирует мультиперспективность, многофокусное видение. В руине встречаются разные времена и пространства, отдельный человек и предшествующие поколения. В свою очередь, субъект проживает осознанный опыт восстановления разрозненных, неочевидных связей между значениями и научается к преодолению подобных разрывов – что, в более широкой перспективе, является опытом, необходимым для поддержания культурной памяти как таковой.

## ГЛАВА III. РУИНЫ КЁНИГСБЕРГА КАК МЕДИАТОР КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ В КАЛИНИНГРАДЕ

### 3.1 Топос руин: изобретение прошлого

В качестве объекта прикладного исследования для проверки теоретических положений относительно специфики и возможностей руин как медиатора культурной памяти был выбран город Калининград. Выбор обусловлен рядом причин, среди которых следует указать: во-первых, город Калининград возводился на основании руин немецкого города Кёнигсберга, который был на более чем 90% уничтожен в ходе военных действий (авианалёты в 1944 году и штурм в апреле 1945 года) Второй мировой войны и в этом состоянии отошёл к Советскому союзу; во-вторых, в отличие от других советских городов, пострадавших во время войны, руины города отсылали к чужой культуре, то есть в послевоенное время происходило не восстановление прежнего исторического облика, а создание качественно нового; в-третьих, существует определённая временная дистанция между моментом образования руин и началом рефлексии над ними и сегодняшним днём – 75 лет, что позволяет наблюдать разные стратегии и подходы к включению руин в городское пространство как минимум трёх поколений (очевидцы и участники войны, первые переселенцы, затем люди, родившиеся выросшие в советском Калининграде, и те, кто родился и вырос уже в Калининграде как эксклаве России); в-четвёртых, руины прежнего города остаются актуальной темой обсуждения относительно культурной среды города, то есть дискуссия продолжается и имеет определенные перспективы развития; в-пятых, особенностью Калининграда является его «миграционный» характер, интенсивная смена населения на протяжении всей его российской истории за счёт положения «перевалочного пункта» между Россией и Европой, что ставит определенный вызов перед способами построения идентичности. Эти факторы делают город Калининград подходящим полем исследования функционирования руин в процессах культурной памяти.

Первичный опыт переживания руин Кёнигсберга советским населением, которому только предстояло освоить и присвоить это пространство, уже представляет собой любопытный материал для исследования. Ещё до штурма Кёнигсберга 6-9 апреля 1945 года образ этого города был сформирован в сознании людей – военных и гражданских – как образ абсолютного врага, «логова фашистского зверя», «сердца прусского милитаризма», «мрачного города-крепости». Можно сказать, что город был обезличен, низведён до двух характеристик – бесчеловечности и агрессии. Именно этот образ, который способствовал мобилизации сил для ведения боевых действий против врага-агрессора, повлиял и на настроения первых переселенцев, которые начали прибывать в область уже в первые месяцы после завершения Второй мировой войны, более массово – после 7 апреля 1946 года, когда в составе РСФСР была образована Кёнигсбергская область. Руины Кёнигсберга воспринимались как поверженный враг, как следы справедливого уничтожения чего-то злого и неправильного. Отторжение от руинированного культурного ландшафта усугублялось ещё тем, что большинство переселенцев были жителями сильно пострадавших во время войны регионов СССР (преимущественно среднерусская полоса), и к общему отчуждению от всего немецкого и вражеского присоединялось разочарование от будущих перспектив (переселение из пепелища в *чужое* пепелище и ненадежность положения, если Кёнигсберг будет возвращен Германии) и ощущение инородности на уровне предметного мира (непривычное строение зданий, планировка улиц, топонимика) и ландшафта (балтийское побережье).

При критически отрицательном восприятии города новым населением велика была вероятность отнесения его руин к не-местам. По сути, именно так отчасти и произошло – пострадавшие от бомбёжек и артобстрелов сооружения и памятники являлись для людей завалами, которые следовало расчищать, или строительным материалом, который поставлялся для восстановления других советских городов, например, Ленинграда, и для постройки / обновления домов в самом Кёнигсберге, или даже свалкой,

грудой бесполезного щебня и мусора. Причина, по которой сведение культурного ландшафта Кёнигсберга – а после переименования 1946 года, ландшафт Калининграда – к не-местам не было осуществлено до конца, видится в том, что у этого места всё же наличествовал сильный образ. Это был образ некрасивого, кровавого, злого города-врага, который заслуживал своего поражения и заслуживал лежать в руинах, однако же он был, руины не воспринимались как своего рода пустоты. Тем более, что через призму этого исключительно негативного образа красной нитью проходила на тот момент «горячая» память о войне и затем – о победе; образы Великой отечественной войны плотно вошли и укрепились в смысловом ядре кёнигсбергских руин и сохранились до настоящего времени. Тесная привязка к этим образам обеспечила первичную амбивалентность отношений к руинам. С одной стороны, несомненно, это был вражеский ландшафт, чуждый и чужой, с ним ассоциировались страдания, смерть, агрессия, злоба, «натиск на Восток», угроза, тяготы войны, плата кровью за каждую отвоеванную пядь земли. С другой стороны, эта земля действительно была *выкуплена кровью*, она была свидетельством победы, триумфа, окончательного отвоевания и освобождения родной земли от захватчиков – ведь Восточная Пруссия и Кёнигсберг как главный её город были первым важным рубежом уже не защиты СССР, а наступления.

Калининград самим фактом своего существования являлся символом выигранной войны, её победного окончания, освобождения земли от врага. Это был «победой рождённый» город. К руинам в городе постепенно складывалось противоречие отношение на основании столкновения конфронтующих чувств – торжества / гордости и боли / неприязни. Война располагалась в «горячей» памяти её участников и очевидцев, была вписана в их жизненный опыт, ментальный и телесный; война как событие сопряжена была с крайне болезненными и мучительными переживаниями, хотя её окончание и порождало чрезвычайно положительные (если не триумфальные, то, по крайней мере, радостные) чувства. Поэтому образ руин

одновременно запускать отторжение от избыточного присутствия отзвуков страшной, кровавой стороны войны – смерть, страдание, разрушение – в повседневной жизни, войну и мирное время хотелось отделить друг от друга, но вместе с тем руины выступали свидетелями окончания войны, завершение одного и начало другого этапа, представлялись местом разворачивания новой истории, нового города. В конфронтации оказалось нежелание, невыносимость постоянного напоминания о войне в её болезненных аспектах в русле повседневности, что, естественным образом, приводило к тенденции расчищать руины, сносить их, перестраивать, и необходимость *помнить* – как о подвиге советского народа, так и о цене, которую пришлось за него заплатить.

Некоторое время бывший центр Кёнигсберга планировалось оставить в разрушенном состоянии, законсервировать располагающиеся там руины в качестве «памятника Победы над фашизмом в Великой Отечественной Войне», с перспективой о передаче памяти потомкам. При этом центр нового города Калининграда следовало перенести и в целом выстроить его с некоторой дистанцией от подобного памятника-руины, что позволило бы разграничить пространство воспоминания (болезненного для населения, непосредственно пережившего события войны) и обычной городской жизни: «Трамвай везет вас по горбатым и узким улицам бывшего города. Бывшего потому, что Кёнигсберг действительно бывший город. Его не существует. На много километров открывается незабываемая картина развалин. <...> Старый Кёнигсберг это мертвый город. Его восстанавливать бесполезно. Легче, практичнее строить новый город. А что делать со старым!? Калининградцы всерьёз предлагают обнести разрушенный Кёнигсберг каменной стеной и время от времени водить сюда на экскурсию претендентов на мировое господство»<sup>1</sup>. Это, возможно, был бы наиболее компромиссный вариант вписывания руин в новый город: во взаимосвязи, но на безопасной

---

<sup>1</sup> Хонне Б. «Злой город» или часть собственной истории? Об отношении к немецкой архитектуре в Калининграде после 1945 г. С. 83.

дистанции. Тем не менее, этот план реализован не был. Целенаправленное и последовательное освоение руинированного культурного ландшафта началось с позиций его освобождения от черт «немецкости» и построения «с чистого листа» нового советского города, не имеющего ничего общего с прежним Кёнигсбергом. Необходимость закрепления памяти о войне была удовлетворена разметкой пространства памятниками и мемориалами погибшим советским солдатам («Памятник 1200 гвардейцам», памятники на братских могилах), которые на долгое время стали преобладающими медиаторами культурной памяти в городе.

Установка на насыщение культурного ландшафта смыслами «заново», без оглядки на уже существующий пласт значений, приняла форму «изгнания прусского духа» из города. Для уцелевших в ходе ожесточенных боев памятников немецкой культуры и руин это означало начало тотального вытеснения, натиска и окончательного физического разрушения, так как им отказывалось не только в смысловом содержании, но и в обыкновенной материальной пригодности и пользе: «Вплоть до Оттепели понятие “исторический памятник” применялось лишь в отношении к захоронениям павших советских воинов, никакие объекты или сооружения довоенного времени (замки, храмы, скульптуры и т.п.) не относились к культурному наследию и не охранялись государством»<sup>1</sup>. Кёнигсберг должен был быть стёрт до *tabula rasa*, чтобы на его месте мог возникнуть Калининград. И, хоть при передаче Кёнигсберга и прилежащих областей СССР, структура руинированного города ещё просматривалась – выжженные стены больших административных зданий, Королевского замка и многочисленных кирх ещё стояли<sup>2</sup> – и, по оценкам экспертов, многие разрушения были лишь поверхностными и их легко можно было восстановить, уцелевшие здания и руины сносились или подлежали перестраиванию, которое бы скрыло приметы их чужеродности. Топос руин сознательно игнорировался и

---

<sup>1</sup> Костяшов Ю. В. Кёнигсбергский кафедральный собор и могила Иммануила Канта в советском Калининграде. С. 87.

<sup>2</sup> Кёстер Б. Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени. С. 7.

вытеснялся из восприятия ландшафта под грифом того, что должно быть стёрто и навсегда забыто перед тем, как этот ландшафт приобретёт своё новое значение и цельный образ.

Вспомогательным моментом для перекраивания образа ландшафта должно было быть не только «очищение» города от особенностей, отсылающих к его прежнему образу и прошлому, но и изобретение искусственной «почвы», на которую можно было бы пересадить разом лишённый корней город, начинающийся как будто «здесь и сейчас». Для этого были предприняты попытки конструирования «славянской» истории Калининграда. Конструирование этого искусственного образа преследовало сразу несколько целей – усиленное восполнение не просто расщеплённого, а максимально зачищенного образа ландшафта; легитимизацию нахождения советского населения на «вновь приобретённой» земле, исконно принадлежащей славянам; постепенная замена категории «чужого» города на «свой» / «родной» в ментальности новых жителей. Помимо полной смены топонимики с немецкой на русскую, «славянизация» заключалась в распространении мифа об исконных исторических правах славян на территорию, «в течение веков находившейся в плену» немцев и уже однажды включённой в состав Российской империи в период 1758-1762 гг., а затем вновь потерянной, теперь же – вновь и впредь обрётённой. Также в конструировании «славянского» образа должна была быть задействована архитектура – с одной стороны, Калининград должен был обрести элементы, воспроизводящие облик московского Кремля, с другой – воплотить в себе квинтэссенцию советского градостроительного искусства, стать образцовым советским городом, построенным с нуля. Возводимый город должен был «служить экраном, на который жители, приехавшие из других регионов советской империи, могли проецировать привезенные с собой воспоминания»<sup>1</sup>, заполнить полный пустот культурный ландшафт

---

<sup>1</sup> Хонне Б. Борьба против вражеского прошлого: Кёнигсберг / Калининград как место памяти в послевоенном СССР. С. 248.

особенностями и значениями своей покинутой малой родины, но для такого масштабного переустройства не хватило средств. В конечном итоге, наиболее успешной мерой в этом направлении было переименование населенных пунктов и других топонимов. Здесь необходимо сделать небольшое отступление насчёт способности топоса к отторжению чуждых смыслов: так, образ «славянской» земли Калининграда, по сути, прижился в наименьшей степени. И даже если циркулирует в виде спекуляций относительно города в современности, совершенно точно не входит в корпус корневого образа. А новая топонимика, утратив опору процесса «славянизации» / «советизации», постепенно устаревает, вызывая у современных жителей ассоциации с «парком советского периода», где уже в качестве руин советского времени выступают названия Калининград, Советск, Краснознаменск и другие.

Стремление к полному физическому уничтожению руин привело в итоге к тому, что неизбежно уцелевшие «осколки» старого города (неизбежно – в связи с непомерностью задачи полной зачистки территории от прежних следов ввиду масштаба подобной операции и отсутствия соответствующего финансирования и средств) стали ещё более броскими и ярко выделялись на фоне построек нового типа. Уменьшение площади материального присутствия руин привело лишь к тому, что руина как таковая стала выделяться, считываться как нечто особенное, выпадающее из контекста, необычное, в противовес ситуации, когда почти весь город лежал в руинах. Стратегия замалчивания немецкого прошлого города и его вытеснения столкнулась с избыточным материальным присутствием этого прошлого в форме руин. Запрет на афиширование немецкой части истории Калининграда поспособствовал снижению негативного восприятия руин, нейтрализации вражеского аспекта в восприятии города. С умолчаниями, но в явственном своем присутствии в полотне городского пространства, руины прежнего Кёнигсберга встроились в образ родного города калининградцев, стали с ним неразрывно ассоциироваться. И, несмотря на сохранение некоего

флёра «демоничности» города, руины которого стали декорациями для многих художественных фильмов о войне и даже для фильмов ужасов, этот аспект постепенно отходит на задний план. Такое смягченное отношение можно также объяснить тем, что в процессе расчистки завалов и благоустройстве нового города переселенцы вкладывали немалый труд и усилия, напрямую влияя на воссоздание целостного культурного ландшафта города. Более того, в этот ландшафт был вписан подвиг прошлого и усилие настоящего, что должно было стать прочным фундаментом для будущего Калининграда. Так цепочка образов сложилась в последовательность враг – трофей – дом.

Прошлое города и области оставалось белым пятном, хотя материальное наследие довоенной эпохи, прежде всего немецкая архитектура, не поддавалась вычеркиванию из действительности, становясь частью повседневности жителей Калининграда. Населению приходилось взаимодействовать с природным и архитектурным ландшафтом, историческими памятниками, бытовой культурой (планировка улиц и жилищ, остатки предметного мира): «Сделать вид, что настоящая история земли началась лишь в 1945-м, что “от Адама до Потсдама” здесь ничего не было, не получалось. История была, она напоминала о себе руинами замков, храмов, осколками фарфора, пивными пробками диковиной формы и т.д. Прошлое было, но это было чужое прошлое»<sup>1</sup>. Тем не менее, пространства для манёвра отсутствовало, так как формирование культурного ландшафта советского города Калининграда происходило медленно и в первые десятилетия, с 1945 по 1960, не выдерживало конкуренцию с культурным ландшафтом руин Кёнигсберга: «в течение многих лет стояла проблема: как создать собственный ландшафт памяти в условиях абсолютного преобладания материального наследия немецких времен. Если “место памяти” “Кёнигсберг” в архитектурном отношении зримо сохранилось в облике города и по сей день, советскому “месту памяти” “Калининград”

---

<sup>1</sup> Гаврилина Л.М. «Свое» и «чужое» в пространстве калининградской региональной субкультуры. С. 67.

вплоть до середины 1960-х годов недоставало именно физического присутствия»<sup>1</sup>. Человек, однако, не может прокладывать свой жизненный путь в не-местах, в неких пустотах; его сознание и тело всегда укоренены где-то, собирают вокруг себя определённое место. Каким бы ни было идейное и официальное сопротивление контакта со смысловым содержанием кёнигсбергских руин, население буквально жило в непосредственной близости к ним, и не могло имитировать полную слепоту к своему материальному окружению на бытовом и повседневном уровне. Тем более, что замалчивание прошлого приводило к тому, что о нём следовало узнавать не из информационного и коммуникационного потока, а обращаясь напрямую к месту, пытаясь дешифровать его по каким-либо приметам и деталям. Эта необходимость самостоятельного изобретения прошлого «из подполья» и на индивидуальном уровне, парадоксально, послужила созданию наиболее творческих условий для медиации культурной памяти посредством руин.

Культурный ландшафт был незнаком и не считываем посредством апелляции к уже известному: «Тотальная смена населения привела к тому, что регион с оставшейся архитектурой (в значительной степени, впрочем, разрушенной в ходе боевых действий), историко-культурным ландшафтом, особым языком символического пространства стал новой родиной для переселенцев из западных областей России, а также из Белоруссии и Украины. <...> Переселенцы видели таблички с готическими надписями, кирхи и иные сооружения непривычных архитектурных форм, они пользовались чужими предметами быта, вынуждены были осваивать инфраструктуру городского хозяйства и дренажные системы на селе – новый жизненный уклад резко контрастировал с тем, к которому привыкли эти люди»<sup>2</sup> - и поэтому неизменно вызывал удивление и любопытство.

---

<sup>1</sup> Хопте Б. Борьба против вражеского прошлого: Кёнигсберг / Калининград как место памяти в послевоенном СССР. С. 239

<sup>2</sup> Дементьев И.О. «Что я могу знать?»: формирование дискурсов о прошлом Калининградской области в советский период (конец 1940-х - 1980-е годы). С. 176.

Множество открытий реального прошлого Кёнигсберга или изобретения новых образов, ассоциаций, мифов происходило на уровне совсем небольших, скромных действий повседневной жизни. Калининградцы пытались сложить мозаику запретного, подлежащего забвению лица города, в котором им предстояло жить, уловить тень того Кёнигсберга, который неизменно изгонялся прочь лишь для того, чтобы затаиться в очередной улочке, вывеске, булыжной мостовой. Поэтому многие жители взяли на себя роль своеобразных археологов-любителей, разыскивающих и сохраняющих следы прошлого. Как уже было сказано, это были преимущественно малые жесты: коллекционирование предметов быта (от чайников до подков) и открыток с видами старого Кёнигсберга, фотографирование и изображение руин города, поиск информации в библиотечных изданиях по европейской истории, внимательное изучение своего дома на предмет сведений о прежних хозяевах и их жизни. Так, по крупицам, воссоздавались значения и смыслы этого культурного ландшафта. Более того, общественным усилием спасались те следы прошлого, что сейчас представляют собой доминанты архитектурного облика Калининграда – памятник Шиллеру, могила философа Им. Канта, Кафедральный Собор, кирха королевы Луизы. Жители не смогли отстоять руины Королевского замка, которые находились в центре города вплоть до своего сноса в 1967 году, вопреки предложению обустроить их как музей истории Великой Отечественной войны, включить в контекст нового города. Что примечательно, эта «потеря» до сих пор является предметом для обсуждения, возникают предложения по реконструкции и воссозданию утерянного замка.

Ещё более оживлённой, хоть и неоднозначной, интеракция с топосом руин в Калининграде стала в современности. Всё более открытый интерес стал нарастать с 1970-х годов и первое время состоял преимущественно из соотнесения обрывочных сведений с надёжными информационными источниками, к которым открылся доступ – накопленный символический капитал, сложившийся из субъективного переживания руин, распределялся

между областями исторических фактов и городских мифов. Но даже после установления более или менее полной картины и представления о прошлом города, диалог с руинами не прекратился. Ведь в Калининграде появились новые руины – руины советского долгостроя, Дома Советов. Он возвышается угрюмым и неуместным гигантом над городским пейзажем, формируя у современных жителей и туристов недоумение, негативную оценку советского облика города в целом, дистанцирование уже от советского наследия, как раньше это было с наследием немецким. А также вызывая некую жалость по отношению к несбывшимся мечтам Советского союза. Дом Советов, что примечательно, находится чуть поодаль от места, где ранее стоял Королевский замок. «Сердце» города так и не получило нового наполнения, и лишь обзавелось ещё одними руинами: было стёрто с лица земли прошлое, а новое не успело прорасти и закрепиться. Ощущение пустого центра придаёт культурному ландшафту ощущение разрыва, который так и не был обработан и осмыслен в полной мере. В этом отражается главная дилемма города, будто застрявшего между полюсами «немецкого» и «советского» образа. Это случилось в силу того, что в Калининграде резко исчезла грань между подспудным, тайным немецким Кёнигсбергом и явственно-присутствующим советским городом, которые теперь необходимо совмещать. Но, в конце концов, руины Кёнигсберга для Калининграда – это неизменная точка отсчёта, с которой соотносятся все дальнейшие напластования культурного ландшафта как палимпсеста. Они были считываемы за образом страшного и жестокого врага, в плотном молчании и забвении, считываемы в добытых любопытными жителями «говорящих» деталях и сквозь новую застройку, и с ними приходится считаться в настоящем.

### **3.2 Многовариантность восприятия топоса руин**

Помимо принципиальной считываемости руин как внутри определённого исторического и культурного контекста, так и вне него, в

ситуации «неизвестных» руин, чью историю и образ только предстоит разгадать и узнать, важной характеристикой, реализуемой в культурном ландшафте Калининграда, является объединение топосом руин множества соподчинённых образов, некоторые из которых даже являются конфликтными и противоположными. В современности это наиболее очевидно, так как перспективы восприятия ландшафта, ранее вытесняемые или замалчиваемые по определенным причинам, занимают своё полноправное место среди его образов, наряду с ранее доминировавшими и предпочитаемыми образами. К «победой рождённому» городу-трофею, а также «образцовому» советскому городу, жемчужине Балтики присоединились образы пострадавшего от войны «старого немецкого» города, чьи уцелевшие памятники стоит беречь, охранять и культивировать как наследие прошлого – уже принимаемого как «своё» жителями города. Более того, с окончанием изолированности Калининграда от окружающего его европейского пространства, обнаружили образы, выработанные депортированными из Кёнигсберга немцами в связи с утратой родного края, затем – посредством перцепции того, что осталось от его руин, блуждания в поисках знакомых черт в изменившемся до неузнаваемости родном городе. Жизнеспособность образа «утраченного Кёнигсберга» основывалась на так называемом ностальгическом туризме, в рамках которого бывшие жители города приезжали посмотреть на его современное состояние, до открытия границ – на воспоминаниях, оформленных как мемуары и устные истории, передаваемые в кругу земляков уже на территории Германии: «После 1945 года город Кёнигсберг/Калининград стал своеобразным раздвоенным “местом памяти”. Для немцев это место лишилось настоящего: скрытая за двойным железным занавесом бывшая столица Восточной Пруссии, аннексированная в конце войны Советским Союзом, существовала только в воспоминаниях жителей Германии – в особенности тех из них, кто был изгнан с восточнопрусской территории. Поскольку Калининград был практически недоступен, рождались фантазии о Кёнигсберге,

превратившемся в своего рода немецкую Атлантиду»<sup>1</sup>. Параллельно этому видению происходило символическое освоение этого ландшафта советскими переселенцами, которым приходилось идти в обратном направлении – если «немецкий» образ Кёнигсберга-Калининграда основывался на точном знании его прежней истории и полной неизвестности о текущем состоянии, то новым жителям приходилось жить в ситуации наличия только момента «здесь и сейчас», изъятого из многовековой истории города.

Так или иначе, очевидно активное осмысление топоса руин Кёнигсберга вне зависимости от доступа к их материальному воплощению или широкому спектру их исходного поля значений, что свидетельствует о его силе как аттрактора воображения субъекта и творческом потенциале как медиатора культурной памяти. Действительно, многовариантность образа культурного ландшафта аккумулировалась преимущественно не за счёт постепенного и последовательного приращения смыслов в непрерывном диахроническом порядке, а за счёт интенсивного коренного переосмысления топоса руин в связи со сменой определенных временных вех и их установок. Такими «переломными моментами» для Калининграда можно назвать непосредственно разрушение и первичный контакт с руинами в ходе военных действий (1945 год), затем – освоение региона первыми переселенцами, уже не просто встреча с руинным опытом, но его проживание и попытка замалчивания / забвения (1946 – 1960-е годы), признание руин Кёнигсберга полноправной и значимой частью культурного ландшафта Калининграда на повседневном уровне и конкуренция официального и неофициального дискурсов о прошлом (конец 1960-х – первая половина 1980-х), наконец, усиление альтернативного, неофициального представления о городе и реабилитация его довоенного прошлого (вторая половина 1980-х – 2000-е) и постепенное преобладание «немецкого» образа над дискредитированным и получающим негативную окраску «советским» образом (2000-е – настоящее

---

<sup>1</sup>Хонне Б. Борьба против вражеского прошлого: Кёнигсберг / Калининград как место памяти в послевоенном СССР. С. 237.

время). В итоге, основные повороты, менявшие ракурс восприятия руин, были таковы: разрушение и превращение в руины во время войны – отторжение и целенаправленное забвение при первичном заселении – исследовательская «подпольная лихорадка» первопроходцев *terra incognita* после признания земли своей – информационный бум после открытия границ и резкий рост источников для исследования – окончательное присвоение довоенной истории и начало отторжения от советского наследия. «Ретроспективно советский период можно описать через синхронно идущие процессы постепенного ослабления официального дискурса об истории края и усиления альтернативного дискурса»<sup>1</sup>, российский период истории Калининграда продолжает данную тенденцию, но опасно переходит грань сосуществования альтернативных образов в едином ландшафте, превращая его вновь в поле конфликта, но теперь с обратной перспективой вытеснения советского (как устаревшего и не имеющего ценности) и преобладания немецко-центричного образа. Последний этап спирали развития взаимодействия с топосом руин также обусловил появление образа «острова» Европы в России / России в Европе (в связи со статусом эксклава, которым Калининград стал после распада СССР), «европейских» и «западных» коннотаций, но и некой провинциальности по отношению к Москве и Санкт-Петербургу, ассоциации с последним рубежом и перевалочным пунктом для миграционных потоков в европейское пространство, неким местом «между» двумя цивилизациями – потенциальным местом конфликта или диалога.

Говоря о роли субъективного воображения и представления, которое затем согласуется внутри поколенческой перспективы в некий общий, схожий способ построения образа, необходимо оговорить также то, что в ситуации преобладания воображения и самостоятельного изобретения прошлого, как это происходило (и происходит) в Калининграде, над конкретным задокументированным знанием, осуществляется более

---

<sup>1</sup> Дементьев И.О. «Что я могу знать?»: формирование дискурсов о прошлом Калининградской области в советский период (конец 1940-х - 1980-е годы). С. 177.

свободная (пере)интерпретация места. Зачастую возникающие посредством вольного и неограниченного / слабо ограниченного какими-либо предзаданными рамками восприятия и собирания ландшафта образы близки к художественным, мифологизированным, так как в них силён элемент выдумки, человеческой фантазии. Это утверждение справедливо и по отношению к руинам Кёнигсберга, которые не только использовались в качестве декораций и антуража для действительных художественных произведений – прозы, поэзии, кинематографа, но и сами обросли мифами, отчасти переместились в область исключительно воображаемого и вымышленного. Тем не менее, даже мифологизированные и исключительно изобретённые образы вошли в состав стержневого образа культурного ландшафта, подтверждая возможности вмещения множественных смыслов. Прежде всего образы-мифы служили для построения смутного и фрагментированного образа довоенного Кёнигсберга, преодоления временного и информационного разрыва, который оставлял лишь обрывки несвязных сведений. Часть прежнего целого всегда вызывает к этой потерянной целостности, и невольное его достраивание в любой возможной конфигурации неизбежно. Например, исследователь А.П. Бахтин отмечает, что представление о внешнем облике и позиции довоенного Кёнигсберга в Германской империи и Веймарской республике, а затем и в Третьем Рейхе, не соответствует действительности и не обладает исторической достоверностью. Статус Кёнигсберга был сильно преувеличен, так как он виделся как исключительно процветающий прибалтийский город с налётом пафоса древней немецкой столицы, центра военной стратегии и экономической торговли, хотя на момент объединения Германской империи Кёнигсберг уже значительно уступал в весе Берлину. Скорее всего, древность и значительность подкреплялась характеристикой руины как таковой, объекта вневременного, как бы возвышающегося – по крайней мере, выделяющегося места среди соположенных ему.

Другой иллюзорной оптикой, вносящей искажение скорее не в содержание истории места, а в представление о его изначальной форме, которую приходится мысленно восстанавливать на основании материально присутствующих остатков зданий, является визуальный образ довоенного Кёнигсберга как города со средневековой, почти готической архитектурой. По сути, в этом случае наблюдается частный случай «систематической ошибки выжившего», когда выводы производятся на основании выборки выживших – в случае Калининграда, более или менее уцелевших зданий, без учёта того, что оказалось разрушено окончательно. Не допустить эту ошибку было почти невозможно, учитывая отсутствие подробной документации о прежнем облике города или личных воспоминаний об этом городе до войны у нового населения; также следует принимать во внимание принципиальную невозможность умозрительного восстановления цельного облика руины по оставшимся фрагментам усилием воображения, чьи образы всегда оказываются богаче и разнообразней единственно-верного исторического варианта. Так, представление о Кёнигсберге как о «старом немецком» городе с высокими черепичными крышами, чей архитектурный облик был выполнен преимущественно в стиле кирпичной, или же северогерманской готики (нем. Backsteingotik), противоречит тому факту, что к началу войны средневековых построек в городе почти не осталось, так как он многократно перестраивался, обновлялся и модернизировался, а к XX веку Кёнигсберг представлял из себя город нового типа в периоде расцвета архитектурной эклектики, «грюндерстиля» и нового модерна – «югендстиля»<sup>1</sup>. Однако «выжившими» и вызвавшими наибольший интерес сооружениями оказались Кафедральный собор и средневековые кирхи из красного кирпича, а также Королевский замок, по образцу которых в воображении и достраивался Кёнигсберг – с узкими петляющими улочками, высокими крутыми крышами, булыжными мостовыми, фахверковыми домиками, прижимающимися плотно друг к другу. Этот «сказочный» образ, спокойно уживающийся с альтернативным

---

<sup>1</sup>Бахтин А.П. Некрасивый Кёнигсберг. С. 46.

представлением о Кёнигсберге как о городе-крепости с вооруженными домами-дзотами, прочно укрепился в культурном ландшафте, воспроизводится в сувенирной продукции, на него, как на образец, ориентируются стратегии построения имиджа региона. Тем более, что растущая неудовлетворённость серой стандартной застройкой советского времени лишь подпитывала интерес к сохранившимся фрагментам довоенного города, провоцировала грёзы о возвращении исторической застройки. О жизнеспособности образа воображаемого Кёнигсберга свидетельствует, например, тот факт, что замок, снесённый в 1967 году (более пятидесяти лет назад!) до сих пор отчётливо представим и узнаваем жителями и даже представлен повсеместно, на открытках, в сувенирах, в планах по реконструкции исторического центра. Сила воображения вернула разрушенный, а затем заново придуманный Кёнигсберг в ландшафт Калининграда, превратив его в город-призрак, слабо представленный материально, но неизбежно существующий в сознании, как бы в «зазеркалье» реального города.

Многовариантность топоса руин в Калининграде, однако, в последнее время всё больше тяготеет не к возможности сосуществования альтернативных образов в потенциально плодотворном творческом взаимодействии, а к противостоянию образов и борьбы за позицию единственно возможного и верного. Подобная опасность всегда заложена в месте с характеристикой гетеротопии, где встречаются и сталкиваются самые разнообразные смыслы и представления и потенциал конфликта неизменно высок. Упрощая, основное противостояние происходит между образами Кёнигсберга и Калининграда. Между ними также можно распределить соподчиненные образы европейского / провинциального города, «советского заповедника» / «островка России в Европы» и так далее. Необходимо уточнить, что это не оппозиция бинарных полярностей; на самом деле конфликт Кёнигсберг-Калининград можно разложить на три составные части: во-первых, существует образ «старого немецкого» Кёнигсберга,

мифологизированного изначально в негативном ключе, затем – в положительном, на данном этапе после длительного забвения и переизобретения доминирующий в смысловом плане и мало представленный материально; во-вторых, образ Калининграда на рубеже нового столетия явственно расщепился на две составляющие, одна из которых – «советский» Калининград, противопоставленный довоенному образу города немецкого Кёнигсберга, «новый советский проект» на отвоеванной земле, в настоящее время стремительно обретающих отрицательную характеристику ввиду общего отторжения и дистанцирования от советского наследия, несмотря на его материальную исчерпывающую представленность; в-третьих, образ современного, «российского» Калининграда, изначально включавшего в себя противоборствующие образы немецкого и советского прошлого на равных, но стремительно теряющего этот хрупкий достигнутый баланс и приближая к себе скорее образ старого Кёнигсберга в обход – или даже при пренебрежении – смыслов и значений, сгенерированных советской эпохой.

При более подробном рассмотрении, однако, противопоставление «немецкого» и «советского» не предстаёт таким категоричным. Вопреки тому, что при первичных контактах с топосом руин порождались содержательно противоположные образы руины как «тела» поверженного врага и одновременно с тем – точки отсчёта нового, «победой рождённого» города, с самого начала эти образы были связаны сквозным образом руины, совмещавшей эти противопоставленные, едва пересекающиеся плоскости воедино. В конце концов, трофейно-триумфальные коннотации начала новой *правильной* жизни «с чистого листа» будто давали второй шанс «злему» городу, смягчали его образ врага и агрессора; а таинственная история «до руин», о которой те свидетельствовали, даже через замалчивание на официальном уровне и принудительную амнезию / слепоту по отношению к демонстративно-присутствующим приметам утерянного времени, придавали начинавшему как бы с «нулевой точки» городу глубину, фантомные корни. Сопричастные к войне знали цену страданию, боли и разрушению, и

торжество над врагом, всё же, не могло окончательно вытеснить и сочувствие к погубленной прежней жизни, хоть и чужой. Разрушенное «логово врага», изуродованное войной, тем не менее, иногда могло представляться и как осколок ранее прекрасного города: переселенцы «не могли сдерживать восхищения красотой города, сохранившейся островками среди дымящихся руин. Многим переселенцам, приехавшим из российской глубинки, представшая перед ними картина, несмотря на разрушения, показалась почти сказочной: красивые дома с высокими красными черепичными крышами, ухоженные сады, реликтовые деревья, витые чугунные решётки и скамейки, чистая Преголя, богатая рыбой. Эти контрасты, взаимно усиливая друг друга, способствовали возникновению когнитивного диссонанса, а это, в свою очередь, стимулировало активную рефлексию по поводу новой родины»<sup>1</sup>. Каким бы сильным ни был отрицательный образ «мрачной цитадели» и Кёнигсберга как города-преступника, бытовое повседневное освоение, соседство с его руинами и необходимость взаимодействия с ними, восприятие как фундамента для будущего нового дома придали ему иное звучание. Из ненавистного города он становился городом неизвестным, омерзение вытеснялось удивлением. Будучи смертельным врагом в войне, его руинированность свидетельствовала также об её окончании, новом начале. В итоге в культуре повседневности, вопреки официальному дискурсу, стал формироваться другой образ места. И в сопротивлении окончательному стиранию части смыслов, сопряженных с прошлым Калининграда (а не в сопротивлении исключительно официальному дискурсу как таковому), «советский» Калининград как бы находит продолжение в Калининграде «российском», продолжающем традицию раскрытия тайн руин, доставшихся ему в наследство.

---

<sup>1</sup> Гаврилина Л.М. Эстетическая коммуникация в пространстве культуры (на примере Калининградской региональной субкультуры). С. 108-109.

Вместе с тем многовариантность образов обладает потенциалом сближения не только различных поколений в рамках одной культуры, но даже нескольких культур. Образ потерянной родной земли и последующий после открытий границ ностальгический туризм-паломничество в Калининград немецкого населения в поисках утраченных воспоминаний свидетельствует о возможности объединения памяти разных культур посредством общего медиатора. Межкультурный диалог при этом заходит дальше отображения двух сторон и двух видений одного события – войны; так, происходит частичное присвоение части смыслового кода другой культуры, обогащение новыми элементами и знаками. Важным примером подобного процесса является постепенное присвоение «значимых Других» в Калининграде. Наиболее яркой фигурой «значимого Другого», которая прочно укрепилась в культурном ландшафте города, является немецкий философ Иммануил Кант. Что характерно для Калининграда, включение персоналии философа в поле значений становящегося города началось от руин – в 1947 году письмом гражданина В.В. Любимова в газету «Известия» был спасён от разрушения Кёнигсбергский кафедральный собор вместе с усыпальницей И. Канта; в обращении подчеркивались заслуги немецкого философа и с тревогой сообщалось, что восстановление Калининграда происходит ускоренными темпами и «скоро дойдет до района, где могила Канта»<sup>1</sup>. Могила И. Канта была сохранена, более того, одна из побывавших в тогда ещё закрытом для иностранцев Калининграде в конце 1970-х немка обратила внимание на то, что на могиле Канта лежали свежие цветы, приносимые туда молодыми калининградскими студентами почти ежедневно: «коммеморация в форме постоянного и анонимного возложения цветов на могилу отражала и складывание особой культурной памяти, и ненасильственный характер протеста против официального дискурса»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Костяшов Ю. В. Кёнигсбергский кафедральный собор и могила Иммануила Канта в советском Калининграде. С. 80.

<sup>2</sup> Дементьев И.О. «Что я могу знать?»: формирование дискурсов о прошлом Калининградской области в советский период (конец 1940-х - 1980-е годы). С. 207.

Фигура И. Канта постепенно обрастала своими легендами и местами, прочно связывалась с культурным ландшафтом Калининграда и остается важной доминантой его образа по сей день: «фигура И. Канта в ипостаси культурного героя территории меняет — все более и более активно — это конкретное земное пространство, современную географию места, обогащает (в разных смыслах) ее ландшафт, поскольку усиливает и даже создает экскурсионно-туристическую аттрактивность (привлекательность) города: мировое секулярное (культурное) паломничество к могиле на острове. Тем самым И. Кант все же сопрягается с географией территории, ее отчасти формируя»<sup>1</sup>. Среди прочих «значимых других», постепенно включённых в повествование места и репрезентирующих его, следует назвать Э.Т.А. Гофмана и героев его литературных произведений, таких как кот Мурр, королеву Луизу и её роль в войне против Н. Бонапарта и заботу о родном Кёнигсберге, средневековых рыцарей.<sup>2</sup> Таким образом, руины Кёнигсберга, выступая первичным медиатором культурной памяти, сохраняют взаимосвязи с другими, и, при вдумчивом обращении к ним, посредством этих связей можно вступить во взаимодействие с уже вторичными, пропущенными через призму руин, посредниками культурной памяти, присвоить и осмыслить их значения, разместить в культурном ландшафте, к которому они непосредственно или опосредованно относятся.

Но прежде всего взаимосвязь множественных образов, порождённых интеракцией с топосом руин, может быть воспринята как условие для межпоколенческого диалога в его динамике. Каждое поколение обладает своими образами и насыщает их своими смыслами и значениями, которые могут противоречить или попросту не совпадать с образами, формулируемыми предшествующими и последующими поколениями. Однако, как было уже показано на трансформации образа Кёнигсберга, даже на первый взгляд взаимоисключающие перспективы имеют определенные

---

<sup>1</sup> Каганский В.Л. Иммануил Кант и культурный ландшафт Восточной Пруссии. С. 53.

<sup>2</sup> Гаврилина Л.М. Эстетическая коммуникация в пространстве культуры (на примере Калининградской региональной субкультуры). С. 110.

точки схождения, из которых можно разворачивать нити взаимосвязей, и не обязательно межпоколенческий диалог и обмен образами должен выстраиваться либо как беспрекословное перенятие каких-либо установок, либо как бунт против них, категорический разрыв. Но при подчеркивании и эскалации конфликтных моментов, существующие перспективы кардинально отличаются друг от друга и создают существенные трудности при собирании единого образа ландшафта: «Не только для стороннего наблюдателя — для местного жителя тоже нелегко собрать город, тем более Калининград и Кёнигсберг, в единое целое. Сегодня он распадется на фрагменты, части, лишённые очевидной зримой и логической связи. Здесь одинокий старый зуб-дом, там небольшой район, как будто почти не тронутый временем, рядом грубо, зримо торчат куски прошлой советской жизни, уже несколько припорошенная временем жилая застройка; вот немногие остатки сталинского города, когда-то нарядного, с колоннами, фонтанами, статуями, и тут же новейшие вложения денег в недвижимость, на скорую руку сооружённые центры современной цивилизации и вокруг, до горизонта — свалки, помойки, гаражи, сараи, дачки, ветхие и брошенные военные городки...»<sup>1</sup>. Стремление свести многофокусное зрение, задающееся топосом руин, к некоторому единому / единственному фокусу, в итоге, приводит к полной расфокусированности.

Разумеется, необходима определенная дистанция, переход культурной памяти из состояния «горячей» в более «холодную», чтобы стало возможным рассмотрение широкой палитры альтернативных возможных образов – так получилось и в случае Калининграда. Но синтеза, объединения высвобожденных и вышедших из тени различных граней единого коренного образа пока что не произошло. Между ними нет примирения, они находятся в прямом открытом конфликте, который можно было бы обернуть полем обсуждения, встречи, обмена. Различные повествования о прошлом не сочетаются и не дополняют друг друга, а соревнуются в попытке вытеснения

---

<sup>1</sup> Чечот И.Д. Гению места Калининграда и Кёнигсберга. С. 341.

представлений других поколений, групп и времён своим собственным. Расщепление образа культурного ландшафта Калининграда на две резко контрастирующие противоположности поддерживается искусственной установкой на принципиальность единственного выбора, который призван отсечь все остальные возможности и альтернативы. После распада СССР в поисках новой идентичности Россия обратилась к своему досоветскому прошлому – но до сих пор непонятно, к чему обращаться Калининграду? Если исходить из установки, что у него было лишь советское прошлое, то ландшафт вновь должен строиться с чистого листа – или остаться на позициях советского образа. Если же включать и довоенное немецкое прошлое, вопрос становится ещё более сложным и комплексным. В итоге из-за потери ориентира происходит постоянное колебание между двумя возможными путями изобретения своего прошлого, двумя генеалогиями идентичности современного Калининграда: «немецкой» и «советской». Получается ситуация повторного сведения культурного ландшафта к руинам, или двойных руин, когда к следам разрушенного немецкого города присоединяются обломки рухнувшей советской утопии: «Кёнигсберг сейчас – это фрагментированные руины, на которые наложено советское пространство в состоянии полураспада»<sup>1</sup>.

Основной причиной этой проблемы видится многовариантность образов прошлого при отсутствии внятного представления о будущем. Медиатор культурной памяти не только сохраняет, но и передаёт далее содержание культуры, её ценности и образы; в Калининграде произошло ощутимое смещение фокуса дискуссии на вопрос: «какое именно прошлое следует сохранять, какое имеет большую ценность?», из-за чего был упущен модус будущего времени, которое должно корректировать и направлять этот выбор – ведь на него ориентируется настоящее, видя в будущем некое «идеальное настоящее», такое, каким оно только пока стремится быть. Без понимания вектора развития конфликт грозит стать бесплодным и

---

<sup>1</sup> *Каганский В.Л.* Иммануил Кант и культурный ландшафт Восточной Пруссии. С. 57.

бесконечным, так как совершенно не ясно, какие перспективы открывает доминирование того или иного образа культурного ландшафта Калининграда, нарушается функция передачи культурных смыслов, существует угроза регресса посредника культурной памяти к простому носителю. Фактически же конфликт обусловлен некоторой дискредитацией положительных образов как «победой рожденного», так и «королевско-немецкого» города в связи с современным упадком города и его провинциальностью, непрочным положением эксклава. Эти факторы обострили необходимости сборки положительной идентичности вопреки распадению и кризису образа места, что, в свою очередь, привело к нарастанию необходимости решения насчет представлений о прошлом и будущем в рамках ландшафта: зачистить (следы советского / немецкого прошлого) или восстанавливать. Нельзя сбрасывать со счетов также угрозу усталости от не дающего конкретных результатов противостояния и следования «пути наименьшего сопротивления» - упадка обеих альтернатив, полной эклектичности, типизации и стандартизации города в рамках глобализационных процессов и конечная потеря какого-либо облика, лица. Угроза эта вполне реальна, учитывая повышенную интенсивность переселения и миграции на территории Калининграда, который выступает своеобразным перевалочным пунктом между Россией и Европой, что приводит к тому, что зачастую приезжие не вникают в образ ландшафта, а ориентируются на указатели такового, схватывают поверхностный имидж.

Топос руин в Калининграде переживает новый виток активного переосмысления. Снова происходит маятниковое движение от желания вернуть утраченное прошлое, «золотой век», который не застали, воплотив его в дне сегодняшнем и увековечив в местах памяти, до стремления полностью забыть прошлое и оставить его позади, зачистить до *tabula rasa*. Постоянный порыв начать с чистого листа или, наоборот, добраться до самых глубоких оснований и начать с них. Выходом из этой ситуации видится только взгляд на культурный ландшафт Калининграда, собранный

вокруг руин Кёнигсберга, как на единое целое. В конце концов, для этого сейчас существуют необходимые условия, позволяющие сохранять равновесие между конфликтующими образами: так, события Великой Отечественной не могут быть забыты, так как именно эта память-боль является иницирующим актом (пере)рождения Кёнигсберга в Калининград (советское не будет вытеснено), а временная дистанция и большая степень обжитости обуславливает бережное отношение к памятникам немецкой стороны (немецкое не будет вытеснено). Необходимо примирить разные ракурсы и тем самым поддержать многовариантность и творческий потенциал ландшафта Калининграда, который вполне может стать площадкой для свободного диалога эпох, народов, культур и поколений. Такой подход требует соответствующей аккуратной политики, соответствующей обращению с руинами как таковыми в городском пространстве: не переусердствовать с тотальным восстановлением, но и не пренебрегать, не запускать до состояния невозможных и несчитываемых развалин, обязательно – обыгрывать, включать в общее полотно палимпсеста, чтобы определенные вехи истории вновь не оказались исключёнными из общего повествования. Ведь, чтобы жила одна часть, необязательно уничтожать другие части «материнского» образа ландшафта, а особенность Калининграда видится именно в многоголосии, порождённой осмыслением его фундамента – руин. Важным моментом является то, что вопреки различиям точек зрения, всё же происходит диалог, люди не остаются равнодушными и даже в конфликте объединены единым полем дискуссии относительно культурной памяти. Это позволяет утверждать, что существует шанс вернуть Калининграду его лицо, размытое и неопределённое в современной ситуации, помочь ему обрести цельный образ.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной выпускной квалификационной работе «Топосы культурной памяти: феномен руин (на примере Калининграда)», выполненной в рамках современных культурных исследований и с привлечением походов междисциплинарных исследований, осуществлена характеристика руин как отдельного типа культурного ландшафта и выполнен анализ особенностей руин как медиатора в процессах сохранения и передачи культурной памяти. В ходе исследования проведён критический обзор значимых работ как отечественных, так и зарубежных учёных, освещающих соответствующую тематику, при анализе и формулировании выводов использована методология феноменологии ландшафта и социологии культурной памяти, а также гуманитарной географии. В качестве основного метода исследования выступал культурологический анализ и сравнительно-сопоставительный метод.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографии.

В главе I «Место как медиатор процессов культурной памяти» на основе подробного критического анализа историографии по данной проблематике рассмотрены ключевые понятийные единицы исследования, «место» и «культурный ландшафт», выявлен потенциал и возможные сферы применения каждого из этих понятий в дальнейших исследованиях. Данный анализ, соответствующий поставленной задаче прояснения понятийной базы исследования, осуществлен в рамках актуальной и активно обсуждаемой в научных и общественных кругах проблемы функционирования в области исследований культурной памяти понятия «места памяти». Раскрыты такие недостатки понятия «места памяти», как смысловая размытость и исключение из концепта «мест памяти» - и, таким образом, из рассмотрения в рамках исследования культурной памяти в целом - характеристик реального пространства. В качестве пути решения проблемы обосновывается

возможность использования в качестве альтернативы понятию «мест памяти» понятия «культурного ландшафта», а также показан тот потенциал, которым это понятие может обладать в рамках исследований культурной памяти. В этой связи продемонстрирована роль топоса ландшафта как одного из значимых носителей культурной памяти и установлена специфика места как пространственно-материального носителя культурной памяти.

В главе II «Непрерывность культурной памяти: топос руин» выявлена и сформулирована специфика такого типа культурного ландшафта как руины, в связи с постановкой проблемы о возможности рассмотрения процесса разрушения как основы возникновения культурного ландшафта. Исследованы и определены характеристики и возможности руин в качестве медиатора в процессах культурной памяти. В этой связи особое внимание уделено раскрытию потенциала руин как фактора, способствующего формированию преемственности между поколениями, а также процессам личностной самоидентификации и самоидентификации поколения. Также установлена и проанализирована взаимосвязь между кризисом исторического сознания, как значимой проблемой современности, и возрастающей динамикой взаимодействия с феноменом руин.

В главе III «Руины Кёнигсберга как медиатор культурной памяти в Калининграде» концепты и понятия, рассмотренные и обоснованные в первых двух главах, использованы в рамках прикладного исследования роли, которую руины исполняют в качестве медиатора культурной памяти в г. Калининграде. Проанализировано, как в конкретном историческом и пространственном контексте происходит считывание топоса руин, раскрывается потенциал его многовариантности и каким образом руины становятся «точкой сборки» при формировании идентичности. В данном контексте испытана выработанная в исследовании методология изучения личностного и поколенческого аспекта самоидентификации. Помимо своего практического значения, прикладное исследование позволило проверить

потенциал концептов и понятий, выдвинутых в теоретической части, в том числе верифицировать возможность соотношения понятий места и культурного ландшафта.

Основные положения данной работы прошли апробацию, послужив основой для статьи «Эссе: руины повсюду – и нигде» (с. 157-169) в выпуске №42 (2019) научного журнала *Studia Culturae*, а также были вынесены в качестве тезисов доклада «Руины: снести нельзя восстанавливать» на межвузовской научной конференции «XIII Кагановские чтения. Коммуникативные стратегии в современной художественной культуре».

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, обладают значительным теоретическим и практическим потенциалом. В рамках междисциплинарной области исследования культурной памяти предлагается альтернатива критикуемому понятию «места памяти» - «культурный ландшафт», которое позволяет в гораздо большей степени раскрыть потенциал материально-пространственных носителей культурной памяти. Концепция культурного ландшафта расширяется за счёт обоснования возможности рассматривать руины как особый вид такого ландшафта, и в связи с этим раскрываются новые возможности работы с процессами разрушения в рамках культурных ландшафтов, что открывает значительное поле для дальнейших исследований в этом направлении. Важным выводом, значимым для последующих исследований культурной памяти, является обоснование потенциала руин как «точки сборки» для индивидуальной и поколенческой идентичности. В данной работе руины также впервые представлены как фактор, способствующий формированию преемственности между поколениями.

Таким образом, раскрыт потенциал руин как возможной «точки сборки» индивидуальной и коллективной идентичности, что имеет большое значение в современной ситуации кризиса исторического сознания. Различные способы функционирования руин в городском пространстве

могут послужить основой для поддержания различных коммеморативных практик, объединяющих общество в целом и различные поколения между собой. Раскрытие смыслового потенциала руин способно также сыграть значительную роль в частотных в современности общественных дискуссиях относительно судьбы различных руинированных зданий и ландшафтов, и стать основой для разработки взвешенных, продуманных решений в этой области, в том числе в рамках государственных градостроительных концепций.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Аванесов С.С.* Архитектурная среда и «объективное» восприятие города (к понятию визуальной автобиографии) // Баландинские чтения. 2019. №1. С. 24-26.
2. *Артамошкина Л.Е.* Концептуализация биографического текста в культурно-историческом дискурсе: Автореф. дис. ... д. филос. наук. СПб. 2013. 43 с.
3. *Артамошкина Л.Е.* Топос, ландшафт, биография: концепция культурной памяти // Вестник КГУ. 2013. №2. С. 174-178.
4. *Артамошкина Л.Е.* Феноменология ландшафта: итальянские впечатления В. В. Розанова // *Studia Culturae*. 2012. № 14. С. 179-194.
5. *Ассман А.* Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / пер. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение. 2014. 328 с.
6. *Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / пер. с нем. М.М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры. 2004. 368 с.
7. *Балаклеец Н.А.* Творческий потенциал пространства жизненного мира как основание социо-гуманитарных наук // Наука в различных измерениях: сборник научных трудов II Международной теоретико-практической конференции, посвященной памяти доктора философских наук, профессора Г. Ф. Миронова, г. Ульяновск, 17-18 мая 2010 г. / ред. Т. Н. Брысина. Ульяновск: УлГТУ, 2010. С. 234-242.
8. *Бахтин А.П.* Некрасивый Кёнигсберг // Кёнигсберг-Калининград сегодня: арт-гид / сост. Е. Цветаева. Калининград: Янтарный сказ. 2005. 342 с.
9. *Валлерстайн И.* Изобретение реальностей времени-пространства: К пониманию наших исторических систем / пер. Л.П. Евсеевой // Альманах «Время мира». 2001. № 2. С. 102-116.

10. *Васильев А.* Memory Studies: единство парадигмы – многообразие объектов // Новое литературное обозрение. 2012. № 117. С. 461-480. URL: <https://magazines.gorky.media/nlo/2012/5/memory-studies-edinstvo-paradigmy-mnogoobrazie-obektov.html> (дата обращения: 11.05.2020)
11. *Веденин Ю.А.* Культурный ландшафт как хранитель памяти ойкумены // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2019. №1 (36). С. 21-36.
12. *Гаврилина Л.М.* «Свое» и «чужое» в пространстве калининградской региональной субкультуры // «Свое» и «чужое» в культуре: Материалы XI Международной научной конференции / ред. Н.Г. Урванцев. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет. 2017. С. 66-68.
13. *Гаврилина Л.М.* Эстетическая коммуникация в пространстве культуры (на примере Калининградской региональной субкультуры) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 4 (66) С.105-111.
14. *Гавришина О.В.* Фотография как руина // Шаги/Steps. 2018. №3-4. С. 59-67.
15. *Дементьев И.О.* «Что я могу знать?»: формирование дискурсов о прошлом Калининградской области в советский период (конец 1940-х - 1980-е годы) // ЛиТ. Исторический альманах. 2014. № 6. С. 175-218.
16. *Джадт Т.* «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? / пер. М. Лоскутовой // Ab Imperio. 2004. № 1. С. 44-71.
17. *Замятин Д.Н.* Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук / Д.Н. Замятин // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 3. С. 26-51.
18. *Замятин Д.Н.* Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.: Знак. 2006. 488 с.

19. *Замятин Д.Н.* Пространство руин: (образ наследия в культуре) // *Общественные науки и современность.* 2009. № 4. С. 148-159.
20. *Замятин Д.Н.* Феноменология географических образов // *Журнальный зал Русского Журнала: НЛО.* 2000. №46.  
URL: <https://magazines.gorky.media/nlo/2000/6/fenomenologiya-geograficheskikh-obrazov.html> (дата обращения: 11.05.2020)
21. *Зиммель Г.* Руина // *Зиммель Г. Избранное: в 2 т. Т.2. Созерцание жизни.* М.: Юристъ. 1996. 607 с.
22. *Каганский В.Л.* Иммануил Кант и культурный ландшафт Восточной Пруссии// *X Кантовские чтения. Классический разум и вызовы современной цивилизации: материалы международной конференции: в 2 ч. / ред. В. Н. Брюшинкин.* Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта. 2010. Ч. 2. С. 51-59.
23. *Калуцков В.Н.* Ландшафт в культурной географии. М.: Новый Хронограф. 2008. 320 с.
24. *Кёстер Б.* Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени / пер. с нем. А. Шабунин. Хузум. 2000. 256 с.
25. *Клемешева М. А., Костяшов Ю. В., А. Н. Попадин и др.* Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: Первые годы Калининградской 58 области в воспоминаниях и документах. / руководитель авторского коллектива Ю. В. Костяшов. СПб.: Изд-во «Бельведер». 2002. 272 с.
26. *Костяшов Ю.В.* Кёнигсбергский кафедральный собор и могила Иммануила Канта в советском Калининграде // *Кантовский сборник.* 2016. №4. С. 79-102.
27. *Лавренова О.А.* Семантика культурного ландшафта: Автореф. дис. ... д. филос. наук. 2010. 10 с.

28. *Лавренова О.А.* Стратегии «прочтения» текста культурного ландшафта// Эпистемология & философия науки. Т. XXII, № 4, 200. С. 123-141.
29. *Лишаев С.А.* Игра руин (материалы к эстетической аналитике руины) // *Mixtura verborum'* 2013: время, история, память: философский ежегодник. Самара: Самар. гуманит. акад.. 2014. С. 84-100.
30. *Мерло-Понти М.* Феноменология восприятия / Пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. СПб: Ювента–Наука, 1999. 605 с.
31. *Митин И.* Место как палимпсест // 60 параллель. 2008. № 4. С. 20–25.
32. *Нора П.* Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета. 1999. С. 17-50.
33. *Нора П.* Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2 (40-41). С. 202–208.
34. *Оже М.* Не-места. Введение в антропологию гипермодерна / пер. с франц. А.Ю. Коннов. М.: Новое литературное обозрение. 2017. 136 с.
35. *Пахолова И.В.* Феномен возможного прошлого в пространстве города // Вестник СамГУ. 2013. №5 (106). С. 21-25.
36. *Попова О.В.* «Праздник времени»: руины как архитектурные гетеротопии // Актуальные проблемы художественного образования в условиях реализации ФГОС / Материалы Международной научно-практической конференции (27 – 29 марта 2019 года, Орёл) // ред. Н.А. Косенко. Орёл: ОГУ имени И.С. Тургенева. 2019. С. 191-195.
37. *Ревзин Г.И.* Почему от WTC не осталось руин? // Проект Классика. 2003. №6. С. 46-49.
38. *Рикёр П.* Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы. 2004. 567 с.
39. *Серто М.* Призраки в городе // Неприкосновенный запас. 2010. № 2.  
URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2010/2/prizraki-v-gorode.html>  
(дата обращения: 05.05.2020)

40. *Томан И.Б.* Культ руин. Фрагменты истории // Персональная страница.  
URL: <http://www.culturalnet.ru/main/getfile/3016> (дата обращения:  
05.05.2020)
41. *Фарыно Е.* Куда девалось, чего нет (переделки - обломки - руины) // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2017. №1. С. 152-193.
42. *Фёдоров В.В., Давыдов В.А., Левиков А.В.* Архитектурные руины в современном мире // Архитектура и строительство России. 2013. № 11. С. 14-21.
43. *Франсуа Э.* «Места памяти» по-немецки: как писать их историю? // *Ab Imperio*. Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сб. статей. М.: Новое издательство. 2011. С. 30-45.
44. *Фуко М.* Другие пространства // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / под ред. В. П. Большакова. М.: Праксис. 2006. Ч. 3. 320 с.
45. *Хлевнюк Д.О.* Руина в городе: культурные ценности и опасность их потерять / XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 2. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. 2012. С. 621-628.
46. *Хоппе Б.* Борьба против вражеского прошлого: Кёнигсберг / Калининград как место памяти в послевоенном СССР / пер. К. Левинсона // *Ab Imperio*. 2004. №2. С. 237-268.
47. *Хоппе Б.* «Злой город» или часть собственной истории? Об отношении к немецкой архитектуре в Калининграде после 1945 г. // Кёнигсберг - Калининград: город, история. Калининград: Издательство РГУ им. И. Канта. 2005. С. 82-91.
48. *Чечот И.Д.* Гению места Калининграда и Кёнигсберга // Кёнигсберг-Калининград сегодня: арт-гид / сост. Е. Цветаева. Калининград: Янтарный сказ. 2005. 342 с.

49. *Шёнле А.* Апология руины в философии истории // Новое литературное обозрение. 2009 №5 (95) С.24-38
50. *Шёнле А.* Архитектура забвения. Руины и историческое сознание в России Нового времени. М.: НЛЮ. 2018. 360 с.
51. *Щукин В.Г.* Заветное «где». Топофилия и методы её исследования // Вопросы философии. 2008. № 4. С. 69-90.
52. *Brodersen P.* Die Stadt im Westen: Wie Königsberg Kaliningrad wurde. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. 367 S.
53. *Hayden D.* The Power of Place: Urban Landscapes as Public History. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 1997. 296 p.
54. *Hoppe B.* Auf den Trümmern von Königsberg: Kaliningrad 1946-1970. München: De Gruyter Oldenbourg. 2000. 166 S.
55. *Huyssen A.* Nostalgia for ruins // Grey Room. 2006. №. 23. pp. 6–21.
56. *Podehl M.* Architektura Kaliningrada. Wie aus Koenigsberg Kaliningrad wurde. Marburg: Verlag Herder-Institut. 2012. 420 S.
57. *Weichbrodt M.* Identität und Stadtentwicklung in Kaliningrad: raumbezogene Identität, Geschichte und symbolische Architektur in der aktuellen Stadtentwicklung in Kaliningrad. // Europa Regional. 2009. № 1. S. 15-24.